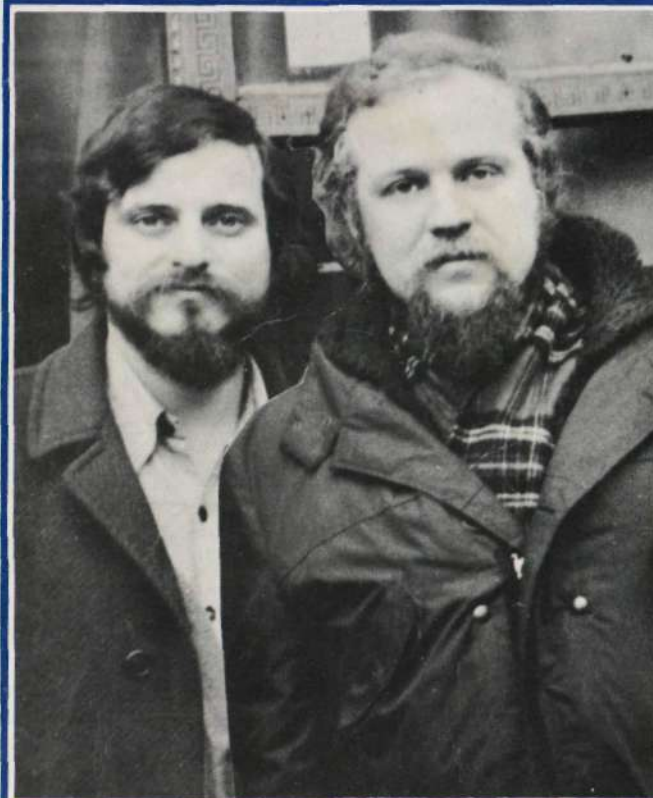


ВРЕМЯ И МЫ 40 1979



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ ИВАНА
БУНИНА

● ПОЭЗИЯ ИЛЬИ
БОКШТЕЙНА

● БУДУЩЕЕ
БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА

● СОЛЖЕНИЦЫН
НА ШАРАШКЕ

● ВЕРНИСАЖ
"ВРЕМЯ И МЫ"

П. Вайль, А. Генис
Мы — с Брайтон Бич

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

40
1979 АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав. редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

Адрес отделения: 35 - 05 , 87 Str., Apt. 2-F Jackson Heights
N. Y. 11372. Т. (212) 476-38-02.

Представители журнала:

	Александр Штрмас
Англия	Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighou» W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47. t. 606-77-61
	Юрий Лурьи
Канада	305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
Франция	Ева Иоффе 43 rue Richard Lenoir, 75011 Paris t. 379-32-87
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Ум-эль-БАНИН
Последний поединок Ивана Бунина 5
Сергей ДОВЛАТОВ
Черным по белому. 58
Мария БРЕНЕР
Обыск 74

ПОЭЗИЯ

Илья БОКШТЕЙН
Шатун надежды 88
Юрий ИОФЕ
Вне России. 96
Далия РАВИКОВИЧ
Ты наверное помнишь. 104
Агарон ШАБТАЙ
Домашняя поэма 106

ПУБЛИЦИСТИКА

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Ближневосточный мир: реалии и прогнозы. 110
Дора ШТУРМАН
Николай Бухарин — любимец партии. 120

РЕПОРТАЖ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС
Мы — с Брайтон Бич. 136

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Аркадий ЛЬВОВ
Простота неслыханной ереси. 161

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Лев КОПЕЛЕВ
Солженицын на шарашке. 178

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Графика Павла Бунина 206

Ум-Эль-Банѳн

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕДИНОК ИВАНА БУНИНА

Перевод с французского Е. Зворькиной.

Я встретилаь с Иваном Буниным в 1946 году.

Кровавая война только что кончилась, война холодная едва намечалась. Послевоенные годы были переходным периодом от одной войны к другой, периодом, полным опасностей и надежд. Между Советским Союзом и Западом не было доверия, но недоверие было еще скрытым. Вчерашние союзники расточали друг другу похвалы и величали друг друга победителями, но все это без большого усердия, без симпатии. Впрочем, симпатия между народами редко бывает долговечной, даже если эти народы шагали какое-то время в ногу во имя государственных интересов. СССР был еще в моде, все были ему благодарны за его титанические усилия, совершенные во имя победы общего дела, все еще помнили, сколько миллионов человеческих жизней было положено, чтобы остановить немецкое нашествие.

Во Франции многие эмигранты разрывались между желанием восславить свою "родину вопреки всему" и между вкоренившейся в них враждебностью к большевикам. А те,

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Copyright *Ум-эль-Банѳн*

Повесть публикуется в сокращенном виде.

со своей стороны, единым декретом отменив их белое прошлое, приглашали их возвращаться. Приглашали даже сердечно. Возвращаться или оставаться? Это был главный вопрос, который надо было решать. Его решали бессонными ночами, в мучениях, в борьбе со своей совестью. Покончить с горечью изгнания, покинуть, наконец, страну, где они оставались чужаками — вернуться в родную страну, хотя и преображенную в советскую и ставшую во многом тоже почти чужой. Свободе и терпимости на сталинский манер многие не доверяли.

Меня, к счастью, эти поистине корнелевские проблемы не касались. Я француженка не только по паспорту, но и по склонностям, у меня не было ни малейшего желания возвращаться в Россию, она не вызывала во мне никакого патриотизма; сама я родом из Азербайджана.

Коммунисткой я тоже не была, и Москва не казалась мне Меккой. Но, хотя эта проблема не касалась меня лично, она меня волновала из-за моих многочисленных русских друзей. Среди них на первом месте была писательница Тэффи, чье имя было когда-то знаменито во всех уголках России, а сейчас ее — неизвестно почему — там не признают; между тем, Тэффи, кажется, единственная русская юмористка; кто писал смешнее и остроумнее, чем она? Почему ее предали забвению?*

Литература хороша хотя бы тем, что она знакомит людей между собой. Она открыла мне двери во многие дома, сблизилась с разными писателями. Благодаря литературе завязались новые дружеские отношения. Благодаря литературе я стала другом Тэффи, которую полюбила с первого взгляда. У нее был самый острый и злой язык на свете. К тому же она была умна, и время, проведенное с нею, было всегда полно очарования. Я тоже не из добреньких, и вот мы находили усладу в том, чтобы перемывать людям кости. По воле случая, мы оказались соседками: за пять минут я доходила от своей улицы Лористон до ее улицы Буассиер, где в квартире русских друзей она снимала комнату, загроможденную

* Советские журналисты в последнее время сообщили мне, что имя Тэффи снова начало появляться в печати.

огромным, закиданным подушками диваном и разномастной мебелью, картинами, книгами. Здесь царил невероятный хаос, все было покрыто пылью, — казалось, это — комната из рассказа Чехова. А фотографии! Их было не меньше, чем книг; они стояли, лежали, висели повсюду, они бросались в глаза, привлекали внимание, возбуждали любопытство. Одна из них, с посвящением, сразу заинтересовала меня: худощавый элегантный господин стоял перед окном и смотрел в сторону с видом надменным и мечтательным.

— Кто это? Писатель?

— Как, вы не знаете? — воскликнула Тэффи. — Посмотрите на надпись: это же наш великий Иван Алексеевич Бунин, роду он дворянского, а славы великой — Нобелевский лауреат 1933 года по литературе.

Мое писательское сердце должно было бы забиться сильнее. Но оно нисколько не забилося: творчество Бунина никогда меня не трогало. Почему? Как ответить на этот вопрос? Как возникают наши литературные, музыкальные, живописные пристрастия? Почему одни люди, одни пейзажи нам нравятся, другие — нет? Наши вкусы поднимаются на поверхность сознания из самых сокровенных глубин. Для нас они тайна, мы ими не управляем; это они управляют нами, склоняют нас к тому или другому, мы же над ними никакой власти не имеем. Мои вкусы никогда меня к Бунину не влекли, его произведения меня не трогали. Я знала, что они прекрасны, но их суть меня не задевала: в них слишком много говорилось о любовных переживаниях, казавшихся мне бурей в стакане воды; меня же, куда больше интересовало предназначение человека, нежели любовные переживания какого-нибудь Мити. Короче говоря, он меня не захватывал — отсюда потом пойдут многочисленные огорчения великого человека, привыкшего к восхищению своих читателей и в особенности дорожившего поклонением читателей.

Незадолго до того Тэффи доложила мне, что он хотел познакомиться с этой "уроженкой Кавказа, которая пописывает на французском языке, вместо того, чтобы пользоваться своим родным, русским".

Таким образом, прежде, чем он вошел в мою жизнь, он уже успел меня разозлить. Я не считала русский язык родным: он был нам навязан завоевателем; никто нас не спрашивал, хотим мы его или нет. Жила я во Франции, а не в России, и стремилась писать на языке страны, ставшей мне родиной. Все это я ему выложу в один прекрасный день, прибавив еще много разных, не лестных для него слов, чтобы его побольнее задеть.

Но сейчас до того дня было еще далеко, и я ответила Тэффи, что буду польщена и рада познакомиться с Иваном Алексеевичем Буниным.

* * *

Мы познакомились тринадцатого июня. Бунин считал это число роковым.

— Да, — сказал он мне как-то, — нужно было остерегаться числа 13, сколько раз уж оно приносило мне беду, скольких бесполезных страданий я бы избежал...

Был ли он искренен? Что было для него лучше — страдать или скучать? Ибо он скучал, сильно скучал в доброжелательном и плоском, как степь, окружении и, чтобы избавиться от скуки, был готов увлечься кем попало. Неважно, что за женщина, важно чувство влюбленности, не похожее ни на какое другое, оно заполняет сердце, в особенности сердце писателя, — возвышает его, питает. Бунин жил rispetабельно, в полном семейном согласии с женой, чудной женщиной, обладавшей всего одним, но зато немалым пороком: после сорока лет брака она не вызывала в нем ни малейшего любовного волнения. А оно было ему нужно, это волнение, не только потому, что он "любил любить", но и из самых простых профессиональных соображений: как описывать ситуации, где влюбленные впадают в самые невероятные крайности — от убийства до самоубийства — когда сам скучаешь в счастливом законном браке без малейших приключений? Можно, не преувеличивая, сказать, что меня ниспослало ему небо, тем более, что я обладала свойствами, специально созданными для роли фаворитки: меня окружал ореол кавказской и магоме-

танской экзотики, на которую так падки были все русские северные писатели: Лермонтов, Пушкин, Толстой. Я принадлежала к его корпорации, сама была писательницей, да к тому же стояла на нижней ступени иерархической лестницы, на которой он занимал верхнюю. Он, без сомнения, воображал, что мы внушим друг другу взаимную страсть и вдохновим друг друга на бессмертные страницы, и все это — под благосклонным взором его жены, у которой было золотое сердце и которая не помышляла ни о чем другом, как только потакать ему и ублажать его.

Когда я 13 июня вошла в комнату Тэффи, Бунин не без труда встал с кресла, предназначенного для почетных гостей. Несмотря на разрушения, которые должны были причинить прошедшие двадцать пять лет даже самому устойчивому лицу, я узнала в нем того самого господина с фотографии. Под глазами у Бунина были мешки, они спускались так низко, что занимали непропорционально много места на его худощавом лице. С этим неприятным свойством он не мог ничего поделать. Но там, где можно было бороться со старостью, он боролся: он стоял прямо, как столпник на колонне посреди пустыни, прямо, словно меч, держал голову, имевшую тенденцию покачиваться. Эта окаменелая прямизна была настолько искусственна, что мне подумалось — уж лучше бы он горбился. Руки Бунина, нервно барабанившие по ручке кресла, были испещрены пятнышками — французы их мрачно называют "кладбищенские цветочки". Но волос еще было много, прекрасного светящегося белого цвета. Главным, однако, было то, что весь он был царственно величав; этому способствовало выражение лица, либо надменное, либо агрессивное, либо оба сразу: они сродни одно другому — различить их трудно. Надменность эту он натягивал на себя, как некую тогу, призванную показать дистанцию, отделяющую гения от простых смертных. Но стоило гению немножко разойтись, а к этому его быстро приводил его кипучий темперамент, и тога слетала, как ветошь; он снова натягивал ее только в том случае, когда ему казалось, что к нему относятся недостаточно почтительно, а до почитания он был лаком и никогда им не насыщался.

Мне нравилась его надменность, я даже восхищалась ею, — она напоминала мне мою первую любовь: князя Андрея Болконского, холодного и гордого героя "Войны и мира", к которому я пылала безответной страстью, как, впрочем, и множество девиц, воспитанных на Толстом. Я жаждала огня, но в панцире из льда, который я одна способна растопить.

"Aller Anfang ist schön" — сказал Гете (всякое начало прекрасно) — но как отвратителен бывает конец...

Десять минут беседы, и вот уже тога, предназначенная вышивать Бунина в глазах других, — спадает. Он воспламеняется, его голос крепнет, срываются комплименты, от которых веет добрым старым временем. Особенно обыгрывает Бунин мою восточность, ему позволяет это мое полуварварское происхождение — удобный предлог для поклонников: нужно только выбрать между "Розой Исфакана", "райской гурией", княжной из "Тысячи и одной ночи" или еще каким-нибудь восточным комплиментом. Любезничая со мной, он мог пускаться в воображаемые дальние странствия по самым экзотическим местам, оставаясь в шестнадцатом округе Парижа, прекраснейшего из столичных городов. Через полчаса Бунин уже объявил мне, что я и есть та самая "черная роза", о которой он мечтал всю жизнь, благо у меня черные волосы и глаза. Чернотой волос я была обязана отличной краске известной фирмы, но не посвящать же было его в эти подробности — глядишь, еще разочаруешь. Этот комплимент я приняла, как и остальные, вполне естественно и не была шокирована тем, что он пошел: достигнув определенной степени известности, писатель может позволить себе даже банальности; считается, что перлы он хранит в глубинах своего воображения, и потом они войдут в его произведения, чтобы поддержать в веках его славу.

Признаюсь, для меня тоже "начало было прекрасно". Меня покорила живость этого старого человека, его едкость, его острота. Он улавливал каждое слово, каждый жест, любое выражение лица, каждое изменение тона. Его взгляд оценивал, измерял, примерял.

И так как сам он был очень внимателен, то и вас заставлял

мобилизовать внимание, побуждал жить в ускоренном ритме, его общество было одновременно и тонизирующим и тираническим; у медали было две стороны: его можно было любить, можно было ненавидеть. В начале нашего "романа" я была зачарована восхитительной молодостью духа семидесятилетнего Бунина. Позже я перевернула медаль (или она сама перевернулась?) и уже видела только его склонность к тирании.

Вначале меня забавляла его непомерность во всем. Чувство меры, столь ценимое французами, у него вызывало ужас; он чувствовал себя хорошо, только доходя до края, тогда как — парадоксально — его слог являет образец экономии и умеренности. В жизни он кипел, любил или ненавидел с равной силой, презирал или обожал с одинаковым неистовством. Впоследствии меня сильно утомляли эти крайности, и, хоть я никогда не скучала с ним, он мне надоедал своей преувеличенной требовательностью. Но я забегаю вперед.

В первую нашу встречу я испытывала только восхищение. На его цветистые комплименты я отвечала изысканными любезностями, в которых я в то время преуспевала, но мои комплименты были строго литературные, я не хотела себя компрометировать и давать ему какие-то права на себя.

Я уже упоминала, что на его творчество мое "я" не отзывалось, мне казалось, что ему не хватает мощи и оригинальности (кажется, я ошибалась). Когда при мне произносили имя "Бунин", я считала, что говорят о Куприне, которого я любила неизмеримо больше; почему-то для меня они существовали параллельно, и не я одна их путала. Когда Бунин получил Нобелевскую премию, многие считали, что Куприн был более достойным кандидатом.

Понятно, все эти мысли я оставляла при себе, а Бунину говорила о несравненной тонкости его вещей, о глубине его анализа и т.д. У меня в запасе были готовые клише, действующие на писателей наверняка. Ведь литераторы, подобно кокетливым женщинам, всегда жаждут комплиментов и принимают их с благодарностью, даже самые пошлые.

Бунин упивался моими любезностями, я упивалась его лестью, и мы пьянили друг друга...

* * *

Через два дня консьержка вручила мне пакет: "От пожилого господина, — сказала она мне, — для вас". Я сразу поняла, кто этот господин и что в пакете. Это могла быть только книга. Еще одна: я не знала, куда их девать — книги громоздились, тесня друг друга, наступая на меня со всех сторон. Под предлогом, что я пишу, все, кто занимались тем же, в невероятном количестве слали мне свои книги, считая, что благодетельствуют меня.

Я не ошиблась: Бунин прислал мне свою книгу, вышедшую небольшим тиражом в Нью-Йорке.

Автор, получая книжку от другого автора, первым делом смотрит на посвящение. Бунин не поспешил: он написал мне целых два: одно — по-французски, другое — по-русски.

Первое — церемонное — гласило: "A madame Vanine, son serviteur Ivan Bounine — 15. VI. 1946. Paris".

Второе было посмелее, видно, потому, что написано было по-русски, а в своем языке он чувствовал себя свободнее: "Сердце мужчины выскальзывает из его рук и говорит "прощай"! — слова Саади о человеке, который в плену у любви".

"В плену у любви"? Намек на себя самого? Как, между нами зашла уже речь о любви? Бунин не боялся преувеличений, это я уже знала; правда, можно было счесть его слова за продолжение наших взаимных любезностей. Как бы то ни было, я была польщена: не каждый день Нобелевский лауреат посылает вам книгу с галантной надписью. Такая удача выпала мне в первый и, может быть, в последний раз.

Надо сразу поблагодарить его, особенно за то, что он сам принес книгу и отдал консьержке... Но почему, собственно, нельзя было послать по почте, как делают все? Зачем было себя беспокоить? Куда торопиться? Бешеный старик — думала я — набирая его номер.

Когда я попросила его к телефону, мне ответил женский голос с ужасным акцентом: "Месье па ля, месье сорти". Перейдя на русский язык, я назвала себя. Потом, решив, что

Бунин заслуживает особого уважения, я отправила ему благодарственную записочку. К вечеру я получила письмо по пневматической почте: испытывая желание немедленно дать о себе знать, он решительно не мог выносить медлительности обычной почты, его стремительным реакциям она не отвечала. Я много слышала о том, что он нетерпелив; теперь я испытывала его нетерпение на себе. Моей записочки он еще не получил:

15. VI.46

Chere Madame!

Мне сказали, что Вы звонили мне нынче утром — очень жалею, что не мог поговорить с Вами и не могу позвонить к Вам — Вы не дали мне своего телефона. Но, вероятно, Вы хотели сказать мне только одно слово — "merci" за брошюру, которую я послал Вам? Если так, то позвольте и мне поблагодарить Вас за Ваше внимание ко мне.

Забыл сказать Вам при нашей встрече у Н.А. Тэффи, что в Вашем романе "Jours Caucasiens", на странице 305, есть большая ошибка, которую следует уничтожить в новом издании; на этой странице есть такая фраза:

— Vive notre Sainte Eglise et notre cher pays, termina-t-il e n levant son verre.

Но ни один русский нигде и никогда не мог произнести такую фразу "en levant son verre": это было бы кощунством пить "за Святую Церковь", это все равно, как если бы мусульманин воскликнул:

— Выпьем за Аллаха!

Низко кланяюсь Вам и целую Вашу руку. Очень буду рад еще раз встретиться с Вами, если Вам будет это угодно.

Ваш покорный слуга, Иван Бунин.

Его острый взгляд замечал все. Ни один русский до сих пор не заметил ошибки, действительно, довольно грубой; даже Тэффи, обычно такая внимательная и зоркая. Но сравнение с мусульманином, пьющим за Аллаха, было не из удачных и по еще более основательной причине (как говорят ад-

вокаты): ни один мусульманин не может опорожнить чашу во славу того, кто как раз сам и запретил ему пить вино.

Считая, что мой долг в отношении великого мужа исполнен, я не видела нужды благодарить его за то, что он поблагодарил меня за то, что я его поблагодарила: так бы мы и благодарили по кругу, пока не изнемогли бы. Но Бунин смотрел на вещи иначе: он и мысли не допускал, что можно упустить такой прекрасный повод для новых контактов. В первом письме он благодарил меня за звонок, во втором, которое я получила через день, он благодарил меня за записочку, доставленную ему с утренней почтой. Осмелев, он уже не начинал письма традиционным "Chere Madame", но восточным "Свет очей моих", хотя и стоящим в кавычках. Такое обращение продолжало наш обмен любезностями:

VI.46

"Свет очей моих", страшно тронут был Вашим письмом и порадовался тому, что я стар. А то бы я в Вас влюбился и была бы большая беда: Вы бы мне не ответили взаимностью, а если бы ответили, то ненадолго, скорей всего, недельки на две, после чего я бы Вам надоел. Есть провансальская поговорка:

"Le bon Dieu envoie toujours des culottes a ceux qui n'ont pas de derriere". Ну что ж: и это неплохо: не иметь "derriere" спокойнее. А то могло бы быть, что "culottes" не придутся по мерке, окажутся или очень широки или очень узки — или очень скоро изнасятся, порвутся, а заплатки класть на них глупо и обидно... заплатками делу не поможешь... Пока до свидания. Ваш. Ив. Б.

Эти соображения с претензией на философию о заде и штанах мне вовсе не понравились: в них было мало юмору, и они пахивали пошлостью. Я не ханжа, не недотрога, но оба эти слова я не люблю. Впрочем, Бунин не случайно написал их по-французски: по-русски они бы показались ему слишком грубыми. В своем языке гораздо тоньше ощущаешь, какие выражения грубы, какие — нет.

Кое-что еще мне не понравилось, вернее, напугало меня: стремительность, с которой Бунин взялся меня обрабатывать. За три дня он послал мне одну книгу и два письма: как говорится, слишком много для одного человека. Тэффи не раз твердила мне о его бешеном характере, о его требовательности; она даже считала, что для осуществления своих желаний он не остановится ни перед чем. С другой стороны, чего мне бояться? Не побьет же он меня, чтобы заставить себя любить? Однако я могла бояться другого: вопреки моему желанию, он меня затянет в борьбу, которая обязательно возникнет при столкновении наших воинственных характеров. Он захочет меня победить, я буду защищаться; он захочет навязать мне свое тираническое присутствие, мне придется с ним бороться. Я всегда боялась принуждения, а с Буниным оно стало бы чрезмерным, я заранее от него отгораживалась. Я жаждала мира, а не борьбы, и решила на его второе письмо не отвечать. Когда Тэффи сказала мне по телефону, что он напал сражен мною, я сочла, что это еще одна причина больше не писать ему и не видеть его: что за радость — выслушивать объяснения в любви от семидесятилетнего поклонника, даже если он Нобелевский лауреат.

Однако через несколько дней все это логическое построение рухнуло от телефонного звонка. Когда я услышала его гудящий голос, которому позавидовал бы молодой оратор, я почувствовала легкий толчок в сердце: радость или огорчение, восторг или раздражение, страх или гордость? Или смесь всех этих чувств? Не знаю. Когда Бунин попросил принять его на часок-другой, я услышала свой ответ, что буду счастлива (и на этот раз я знала, что это правда) его видеть. С обычной двойственностью своих чувств, из-за которых я так часто запутывалась в жизни, я открыла в себе внезапное, огромное желание его видеть. Еще раз я оторопело слушала, как кто-то посторонний отвечал за меня, приняв решение, которое, казалось бы, я не одобряла.

Через два дня Бунин позвонил в дверь не по-русски точно: в три часа, не без пяти три, и не в три часа пять минут. Он стоял передо мной прямой, как телеграфный столб, и казался

таким же твердым. В руках его была палка, и выглядел он очень властным; казалось, он сейчас поднимет палку и меня прибьет. К счастью, он, наоборот, поцеловал мне руку; но даже в этот жест явного подчинения сумел внести элемент тиранничности. Потом он вошел в маленькую комнату, место моего всегдашнего пребывания, упал в единственное кресло, огляделся вокруг... и остолбенел: на камине, на самом виду, стояла в рамочке фотография мужчины. Поизучав его, он соорудил презрительную гримасу, фыркнул — такое фырканье я потом слышала неоднократно — но ни слова не сказал. Молчала и я. Потом я налила ему стакан вина, потому что знала, что он может пить его в любое время дня и ночи — он выпил единым духом, как будто хотел оправиться от впечатления, произведенного тем чудовищем. Он знал, что я замужем; знал, что я живу с мужем врозь, что он даже не в Париже. Фотография, которую я имела неосторожность выставить, вызвала его сомнение.

Муж ли это или какой-нибудь еще тип, о существовании которого он не подозревал раньше? Вопрос этот явно его мучил. Редко видела я такие выразительные лица: все чувства можно было прочесть на нем, как в открытой книге. Я угадала, что он делал над собой неимоверные усилия, чтобы ничего не спросить. Как будто для того, чтобы подтвердить мои предположения, он воинственно стукнул по полу и сказал:

— Да, да...

— Что такое? — спросила я его со всей невинной любезностью, подливая ему вина и делая вид, что ничего не понимаю: но он разгадал мою игру. Чтобы вывести его из этого состояния, я прибегла к надежному способу:

— Расскажите мне подробно, как вы получили премию, или вернее, как узнали, что она вам присуждена... Как вы реагировали на известие? Наверное, очень обрадовались.

Выражение его лица изменилось, он улыбнулся, откинулся на спинку кресла, погладил своей длинной рукой стакан с вином, который поставил на ручку кресла:

— Нобелевская премия, — мечтательно повторил он, — Нобелевская премия. Да, да... И вдруг, переключившись на дру-

гой сюжет, казалось бы, совсем другой, однако связанный с Нобелевской премией, он продолжал:

— Свет очей моих, знаете ли вы, что такое счастье? Ему дают разные определения, и все говорят разное. Мы можем только предчувствовать его, схватить его невозможно, и когда мы думаем, что держим его в руках — глядишь, оно уже испорчено — то зубной болью, то ностальгией, то смертью ближнего. Я жду его всегда.

И снова выражение его лица изменилось и погрузнело.

Прошло больше двадцати лет со дня его первого визита ко мне. Мне тогда было около сорока, и я тоже все время ждала этого несбыточного счастья, стыдась быть инфантильной в таком зрелом возрасте. Бунин был почти вдвое старше... Итак, думала я, если мне суждено дожить до его лет, мне останется сорок лет ждать счастья! Какое издевательство судьбы! А этот человек, наделенный всеми благами земли — любовью, красотой, здоровьем, славой, талантами — был неудовлетворен и постоянно метался в поисках химер. Почему? Потому ли, что он был ненасытным, как утверждала Тэффи, называвшая его пожирателем? Или потому, что никто не может запретить себе верить в рай, который должен существовать где-то на земле? Если это не так, то почему мы всегда во власти этого вечного предчувствия?

Пока я грустно размышляла, он продолжал свой монолог, который я на какое-то мгновение перестала слышать.

— Я всегда жду т о г о письма, которое должно принести мне чудо счастья. Не смотрите на меня так недоверчиво — я правильно говорю: чудо счастья. Да, в моем возрасте! Каждое Божье утро я кидаюсь к почте, которую консьержка подсовывает мне под дверь; и когда вижу незнакомый почерк, сердце начинает колотиться. С нетерпением разрываю конверт — никогда ничего не оказывается... Да, а все-таки получение премии приблизило меня к счастью, от которого прыгает сердце — но счастье вещь непродолжительная, может быть, потому, что наше эфемерное существование отравляет все.

Как я узнал о премии? Очень забавным образом. Я жил тогда на юге и в этот вечер пошел в кино на последние новос-

ти; мне сказали, что показывают дочку Куприна — Кису, я знал ее совсем маленькой. Прелестная была девочка. И вот, представьте себе, в тот самый момент, когда я заметил на экране и еще толком не разобрал, она ли это, и делал усилия, чтобы распознать в этой полнеющей даме прежнего грациозного ребенка, в этот самый момент ко мне подходит приятель с билетершей — она водила его по рядам и освещала фонариком лица. Он бросается ко мне, дергает за рукав и громко шепчет: "Скорей, пойдите скорей... Вам премию присудили". Ну а я — вот те крест — и он широко по-русски крестится — я стал отбиваться, вытащил руку и попросил его катиться к черту: я хочу, мол, досмотреть новости до конца, до последнего кадра. Так мне не понравилось это навязчивое вторжение в тот самый момент, когда я увидел Кису Куприну! И я досмотрел известия, а приятель трепыхался возле меня. Признаюсь, по мере того, как до моего сознания стала доходить эта замечательная новость, кадры с Кисой начали замутняться. Я поспешил домой, где меня ждали — на том конце телефонного провода — члены жюри. Дальше была волшебная сказка: путешествие, приемы, почести, слава, деньги. Моя жена, сопровождавшая меня, была объявлена "самой красивой женщиной в русской эмиграции", а я самым...

— Самым красивым мужчиной в мире?

— Издевайтесь, сколько хотите, — это уже не может помешать мне быть в те времена красивым мужчиной.

— Вы и сейчас красивый!

Не знаю, сильно ли я врала, немножко ли, или не врала вовсе. Не был ли он и сейчас красивым человеком, даже красавцем? Красивым стариком?

Как все люди, которым льстят, он улыбнулся, чтобы скрыть удовольствие. Но не долго давал он себе этот труд — улыбаться, вскоре его удовольствие перешло в гнев, когда я сказала:

— Как все-таки вам повезло с этой премией!

— Почему повезло? Я заслужил ее больше, чем любой другой писатель на свете. Из всех живых писателей я — самый крупный!

От такой нескромности я обалдела. Много встречала я в жизни значительных писателей, которые считали себя великими, но никто из них не осмеливался говорить это о себе вслух.

Монтень сказал, что ложная скромность — самая приличная форма лжи. Неписанный закон внушает нам некоторое лицемерие и повелевает ждать, пока другие обнаружат нашу гениальность. Увы: чаще всего так никто и не удосуживается ее открыть, или это делает после нашей смерти. Удача для издателей, галерейщиков, историков и прочих, но вовсе не для трупа, который гниет себе в земле. Тем хуже, надо уметь рисковать...

Увлеченный страстью, он уже не говорил, а орал, его необыкновенно зычный голос проникал через зелень под окном, доходил до ушей прохожих. Сначала, как в кегли, один за другим были повалены все живые писатели. Затем он обрушился на мертвых с такой едкостью и вдохновением, что я (должна признаться), в конце концов, пришла от него в восторг, несмотря на непомерность его критики. Уцелел один Толстой. Я вздохнула с облегчением, потому что в порыве, его увлекшем, он мог заодно повалить и мое божество. Позволив себе увлечься, он впал в невообразимые крайности. Нобелевская премия вскружила ему голову, он погрузился в эгоцентризм, с которым мне сейчас пришлось столкнуться. Или он хотел таким образом вскружить голову и мне, выставя напоказ и раздувая предо мной свое величие?

Снова он вспомнил о Жиде, которого топтал и раньше, но Жид ему так не нравился, что показалось: на него надо обрушиться вторично! Встреча с Жидом оставила у него неприятный осадок в душе и чувство поражения.

— А почему встреча не удалась? — спросила я Бунина, пользуясь мгновением, пока он делал вдох: ведь и гениям надо дышать. — Почему у вас не сложились отношения? Не возникло взаимной симпатии?

— Нам не о чем было говорить.

Вот тогда и я смогла, прервав монолог, вставить слово:

— Скажите лучше, что поскольку вы шовинист, то вы и не

смогли им заинтересоваться. Вам скучно все не русское. Да, да, скучны вам вся Европа, весь мир. Говорить по-французски — для вас пытка. Вы живете в этой стране четверть века и не удосужились или не смогли выучить ее язык. Французы сердят вас тем, что они не русские; вы упрекаете Францию за то, что она не ваша святая матушка-Русь. Вы подсознательно считаете их ответственными за вашу эмиграцию и переносите на них все ваши сетования на судьбу. Это специфически эмигрантское мировоззрение. Не удивлюсь, если в один прекрасный день все русские, вроде вас (к счастью, не все такие, как вы), пойдут по улице Пасси с лозунгами: "Долой французов" или "Франция для русских".

Бунин побледнел и загремел: "Самое отвратительное, это видеть, как русская женщина превращается в иностранку. Вы вечно ломаете комедию, изображаете, что вам не найти подходящего русского слова, вы, которая родилась в России, и т.д...."

Теперь была моя очередь бледнеть: "Я запрещаю вам переодевать меня в русскую. Слышите, з а п р е щ а ю ! Вы превратили мою родину в колонию, ладно, но мы вовсе не смирились с этим "под тенью ваших дружеских клинков", как пишет, без всякой иронии ваш великий поэт Лермонтов. Если б вам привелось видеть мою бабушку, которая плевалась при виде "русских христианских собак", вы бы лучше поняли наши мирные чувства к вам. Ни семья моя, ни предки, ни религия, ни народ не были русскими. Мой род со своими Али-бабой, Гюльнарками, Лейлами и прочими вышел из Персии, а вовсе не из Ярославля или Царицына.

— Ладно, ладно. Однако вы говорите по-русски, как русская, и, конечно, вам надо бы писать на этом языке. Кроме того, фамилия ваша — Банина; русские, которые не знают вашей настоящей фамилии, считают, что это ваш псевдоним от слова "баня", это комично, — тогда уж меняйте фамилию.

— Конечно, — желчно возразила я, — вы бы предпочли, чтоб я звалась по-русски — Маша, Саша, Глаша, Каша и прочее в том же духе. Но я вам уже сказала, я не русская и пишу не для одной русской эмиграции. Да, я считаю себя западным

человеком и западным читателем, а еще больше — гражданкой мира.

Мы готовы были убить друг друга. Может быть, первый визит Бунина окажется и последним? Вопрос этот шевельнулся, видимо, и в его сознании. Он забеспокоился и внезапно изменил тон. Вздохнул, лицо его приняло отчаянное выражение:

— Послушайте, я же старый человек. Не мучьте меня.

— Не валите с больной головы на здоровую. Это вы меня оскорбляете вашими шовинистскими высказываниями. А что касается вашего возраста, я тут ни при чем.

Внезапно он взорвался: "Я вовсе не так уж стар. Ваши Жиды, Гете, ваш Шатобриан..."

— Гете в вашем возрасте влюбился и, кажется, не только платонически.

— А кто вам сказал, что я...

Я любезно перебила его: "При вашем пристрастии к спиритному..."

Он был ошеломлен: казалось, он вот-вот заплачет. Я много раз впоследствии видела его в таком состоянии. В тот раз мне стало стыдно:

— Что вы хотите, вы меня довели до этого: я дала себе волю.

— Взгляд ваш разит, как кинжал.

— А ваш язык, как десять клинков вместе. Зачем, например, вам понадобилось, превращать меня в русскую, в вашу Кашу, Машу, Сашу? Поймите меня правильно: ничего я не имею против русских, даже наоборот, но я есть то, что я есть, и нечего из меня делать то, что вам угодно.

— А вы воображаете, что ваши дурацкие идеи о гражданстве мира не возмутительны?

— Думаю, что они по нынешним временам совершенно нормальны.

И снова завязался спор. О чем только мы не спорили! Минутами разговор делался более мирным; мы даже вспомнили порошок от блох, которым я пользовалась для своего кота Жазона, чей нрав, кстати сказать, был такой же тиранический, как бунинский.

Когда он, наконец, решил, после четырех с половиной часов, отправиться к своей милой супруге — какое я испытала облегчение! Я осталась одна, чувствуя себя опустошенной, измученной, взьерошенной, доведенной до такого состояния, что меня всю скрючило, как со мной бывает после сильных переживаний. Я ненавидела Бунина и, однако, не увлеклась ли им немножко? Ведь он мне нравился, этот кипучий старик, такой воинственный, такой неукротимый... Он меня увлекал в авантюру, которая давала возможность — мне, лентяйке, — жить полной духовной жизнью, не вставая с дивана. Однако я решила ничего больше не делать, чтобы с ним увидеться: так будет лучше, наверно, и для него, и для меня.

Но уже через день консьержка вручила мне пакет (он снова принес его сам), на котором я увидела красивый почерк мастера. В этот раз он посылал мне книгу стихов с вложенным в нее письмом.

На книге красовалось цветистое посвящение:

Дорогая госпожа Банин
Черная роза небесных садов Аллаха,
Учитесь писать по-русски!
Учитесь писать по-русски!

Ив. Бунин, 1946 (это я зачеркнул слово "госпожа").
 Вот это письмо:

Дорогая, прекрасная Магометанка. Вы не дали мне вчера названия средства от насекомых, о котором Вы так чудно и восторженно говорили: может быть, будете добры написать два словечка на открытке?

Пользуюсь случаем сказать Вам, что нынче всю ночь я думал о том, как Вы, ни на минуту не давая покоя своим смуглым ступням, несколько раз обидели меня, говоря, что я, благодаря пьянству, не сравнялся в силе с престарелым Гете и теми девяностолетними старцами, что имели в эту пору множество детей: откуда Вы взяли, что их нет у меня? И еще: как ужасно ошибаетесь Вы насчет моего возраста! Он преувеличен на целых девять лет — и я не опровергал этого только потому, что в Америке собирали мне под этот возраст доллары на мое эмигрантское существование. Прошу Вас во всем этом раскаяться и принять уверение в моем обожании Вас.

Ваш покорный слуга Ашик-Кериб.

П.С.Человек родился в 1879 г. И вдруг печатают вместо 9 — ноль..

* * *

Книжка стихов обязывала меня благодарить Бунина, а просьба о порошке — отвечать на нее. Конечно, повод был смехотворный: на что дался ему этот порошок, раз у него не было ни собаки, ни кошки? У него самого завелись блохи? Или клопы — в квартире? Просто он хотел продолжать наши отношения, снова возобновить изнурительную дуэль. Должен же он был понимать, какое мрачное будущее нас ждет, если мы возобновим наши встречи.

У меня хватило выдержки не отвечать на письмо целую неделю. Через неделю мне позвонила Тэффи и приказала явиться к ней. "Приказала" — то самое слово: по ее тону я поняла, что она недовольна мною и готовит мне разнос.

Я не ошиблась.

— Вся эта история мне крайне неприятна, — сказала она, — и, главное, я несу за нее ответственность, потому что познакомила вас.

Она уверила меня, что "он" томится, звонит ей каждый день, жалуется на меня: мол, не ответила даже на письмо, не отреагировала на книгу! От всего этого он потерял аппетит.

— Но, разумеется, не к горячительным напиткам, — заметила я.

Тэффи прочла мне проповедь о терпимости и жалости, — если этого нет, зачем было кружить голову бедному старику? Защищаясь, я сказала, что он сам вскружит голову кому угодно. Потом я рассказала ей, какую несурязицу нес Бунин по поводу ошибки: вместо девяти напечатали ноль — и вот состарили его на девять лет. Она громко смеялась, я — нет. Несмотря на гордость, которую я испытывала, возбудив до такой степени интерес великого писателя, меня охватывало чувство неловкости: я прекрасно понимала, что не смогу, не захочу дать ему то, чего он ждет от меня... Я посвятила Тэффи

в свои сомнения, которые она отмела своим привычным широким жестом. Чего ради расщеплять волос на четыре части? Зачем превращать флирт в драму? Почему не посмотреть с юмором на всю эту историю, которая на самом деле приводит меня в восторг?

Приводит ли она меня в восторг? Да, приводит... но... Тэффи не дала мне пуститься в объяснения, которые уже слышала. Надо немедленно звонить Бунину, поблагодарить его за книгу и пригласить внять из моих уст название порошка от блох. Теперь я смеялась вместе с Тэффи: при воспоминании об этом порошке от блох или клопов с таинственным назначением не рассмеяться нельзя было. Я решила со всей широтой души подарить ему коробку этого предмета первой необходимости.

Бунин был так растроган моим звонком, что я и сама умилилась. На следующий день он пришел. Накануне я смотрела живописный советский фильм об Узбекистане и принялась сейчас же его нахваливать с большим энтузиазмом, как я делаю всегда, если что-нибудь мне нравится.

По мере того, как я выкладывала свою поэму в прозе, он заметно мрачнел.

— И вы верите этой пропаганде?

— Какой пропаганде? Крупный виноград растет не по указанию политкомиссаров; роскошные плодородные долины на месте прежней пустыни — это же не декорация; дороги, университеты, ирригационные работы, превратившие мертвые пространства в сады,— существуют — пропаганда это или нет. Все эти усилия достойны восхищения, как и природная красота этого края.

Его терпение лопнуло, он взорвался:

— Отныне вы большевичка?

— Ах, как я узнаю эту психологию белых русских, как я ее не выношу! Едва признаешь хоть что-нибудь советское достойным уважения, вас тотчас причисляют к красным. Это невероятно, и меня всегда возмущает, как у людей интеллигентных, или выдающих себя за таковых, не хватает умственной честности и чувства меры. Ненависть всегда слепа! Неужели вы неспособны быть объективным?

— Так, значит, — я нечестен, неспособен к объективности и к тому же поверхностно образован?

— Да нет же, нет! — вяло протестовала я. — Вы плохо истолковали мои слова. Конечно, вы полны предрассудков, предубеждений, предвзятости в отношении и к коммунистам, и к Западу, и к французам. Вы, такой чувствительный к проявлению всякой женственности, никогда, наверно, не ухаживали ни за одной француженкой, потому что в этом случае вам пришлось бы говорить по-французски, о ужас! И...

Он перебил меня: "Неправда! Я был готов ухаживать за Кэтрин Мэнсфильд, она прелестная женщина. Но она — поверите ли — ложно меня поняла: в своем дневнике она рассказала, будто я прервал ее похвалы Чехову, чтобы посоветовать ей читать "Господина из Сан-Франциско". Это совсем на меня не похоже".

— Как, — воскликнула я, — в разговоре со мной вы тоже не отозвались на мои похвалы рассказам Чехова. Я склонна верить Кэтрин Мэнсфильд.

— Вы склонны верить дьяволу, если он будет против меня.

— То же касается и мужчин, — продолжала я свое наступление, не слушая его. Вы неспособны иметь друга-француза, да что француз: европейца, американца, папуаса... Вам нужны русские, русские и еще раз русские.

— Это не моя вина. Прочтите, например, что пишет Жид в своей газете про нашу встречу. Он признает, что я делал похвальные усилия, чтобы наладить контакт с ним. Но ведь не состоялось же взаимное понимание. Чья это вина? Почему обязательно моя?

— Между вами и иностранцами не возникло контакта. И при том, что вы встретили лучшее, что может дать Европа. И вы можете серьезно утверждать, что среди всей этой элиты не нашлось ни одного человека, достойного вашей дружбы? Ни одного? Признайтесь, что вам нечего мне ответить?

Я его огорчила — он сидел удрученный. Он утратил свою агрессивность и казался просто очень грустным; чтобы разогнать эту меланхолию, я пошла за вином и закусками, приготовленными для него. Я принесла ему также преслову-

тый порошок от блох; я сделала все возможное, чтобы ему стало приятно. Лицо его осветилось. И он сказал размягченным голосом:

— Ах, что бы мне вас встретить лет на двадцать пораньше!

И я услышала свой голос, мгновенно отвечающий ему от всего сердца:

— Это было бы восхитительно!

Тотчас же я уточнила: "Мы очень скоро убили бы друг друга или жили бы в аду".

— В аду, но пополам с раем. И рай взял бы верх над адом, кто знает? Я даже уверен в этом.

Мы были так растроганы видением безупречного счастья, оно было так реально, что остаток визита протекал идиллически. На прощанье он несколько раз поцеловал мне руку и пригласил меня "украсить" своим присутствием вечер, посвященный ему, где он будет читать свои вещи. И он вытащил из кармана куртки приглашение. Я с трудом выношу, когда авторы читают; они же, наоборот, испытывают при этом глубокое удовлетворение. Иногда они еще вводят своих слушателей в расход. К счастью, Бунин дал мне бесплатный билет, пришлось согласиться и ради самого Бунина, и ради Тэффи, которая изничтожила бы меня.

На следующий день я получила утром пневматическое письмо следующего содержания:

5. VII. 46

Обожаемая Танин, Банин!

Благодарю за блошиную пудру. О прочем пока два слова, ибо спешу на почту с самолетом в Америку: далеко, далеко не на всех французов я "фыркаю" (и вообще, не умею "фыркать", не будучи лошадью), склад ума, Вами мне приписываемый, был и у многих русских людей не хуже франсов,— например, у Пушкина... Узбекистан был и 50 и 100 и 1000 лет тому назад прекрасен, виноград рос на земле и до Карла Маркса, Каспийское море шумело, зеленело, синело еще и до Ноя и до Ленина, Бог, сколько бы ни писали Его с маленькой

буквы, переживет Москву ... Что еще? Очень счастлив, что увижу Вас хоть издали (хотя почему издали?), в воскресенье я читать буду про Темир-Аксак-Хана (есть у меня такой рассказ) исключительно для Вашей милости... А за всем тем падаю на колени и мету челом (то есть лбом) прах следов Ваших...

П.С. А почему, собственно говоря, Вы не позвали меня с собой в синема?

* * *

Маленький зал Дебюсси с трудом вместил многочисленных поклонников Бунина. Страфонтены брали с бою; пришлось поставить стулья даже на эстраде, вокруг стола для выступающего, на котором красовались традиционный графин и стакан. От себя добавлю, что дорогого мэтра больше порадовала бы бутылка вина.

Теснота в зале меня не касалась: поскольку я пользовалась благосклонностью Бунина, то мне было предоставлено кресло в первом ряду, как раз напротив чтеца. Прямой, как свеча, внушительный, как король, он величественно появился в зале и был встречен грохотом аплодисментов. Снежная белизна волос, изысканная элегантность сообщали ему неотразимое обаяние. Когда он начал читать, я еще больше пришла в восторг: голос, чересчур громкий в моей маленькой комнате, здесь был в самый раз. Он достигал всех уголков зала, гудел, как труба, увлекал и нас, и его самого. Под взглядами обожателей Бунин возвышался и царил; время от времени он метал взгляды в зал и посылал мне улыбки. Все его существо возвещало: вот он Я, Иван Бунин. Казалось, он призывал восхищаться им еще больше, не терять ни мгновения, и слушатели откликнулись на этот призыв. При каждой паузе зал взрывался бурей аплодисментов, прославляя знаменитого автора, великого, неповторимого Ивана Бунина.

Вряд ли нужно упоминать, что публика в большинстве своем была русская, исключение составляли два "иностранца" —

французы, известные переводчики, которые, конечно же, говорили по-русски.

Бунин не злоупотребил восхищением слушателей и не занял чтения, как на его месте сделали бы многие. К тому же он читал безукоризненно: не слишком быстро, не слишком медленно; у него была отличная дикция, он никогда не впадал в напыщенность; читал так же сдержанно, как писал. Вечер кончился триумфом и овациями. Монарх, отвечающий с балкона на приветствия подданных, не мог бы кивать толпе с более царственным величием, чем Бунин.

Для некоторых вечер продолжался и по выходе из зала. Эти избранные, среди которых была и я, окружив мэтра, как окружают святые дары во время процессии, отправились в кафе на площади Терн, где все разместились за несколькими столиками; посредине сидел Бунин, я по правую руку от него. Тогда я и познакомилась с Верой Николаевной Буниной, к которой тотчас же прониклась симпатией и восхищением.

Со мной она была очень мила, осыпала меня литературными похвалами — и не только литературными, — улыбаясь мне очаровательной улыбкой — губами и глазами. Она была еще хороша собой, несмотря на возраст, висящие пряди седых волос и на более чем скромную одежду. Высокая, столь же изысканная, как ее супруг, она держалась, как светская дама; впрочем, в нужных случаях, как я вскоре убедилась, она умела проявить волю. На этом вечере она обнаружила ее в мою пользу. Чувство ревности ей казалось чуждо; она как будто никогда не препятствовала многочисленным похождениям мужа. Кто знает: быть может, это великодушие содержало в себе долю эгоизма? Не на нее одну тогда приходились срывы, капризы, требования тирана; часть молний, которые Бунин метал на окружающих, летела на этот громоотвод, так я, по крайней мере, предполагала.

Можно представить все иначе и гораздо более лестно для Веры Николаевны. Она так любила мужа, что считала важным только его счастье; она была так глубоко добра, что никогда не могла сердиться на него; она так почитала его творчество, что видела для него необходимость и в солнечных утрах, и в

бурях. Несколько десятилетий совместной жизни лишали ее возможности давать ему все эти ощущения. Она не была больше влюбленной в него женщиной, но скорее была ему матерью, которая баловала своего ребенка. Кем же и был он, в конце концов, как не старым ребенком, ее ребенком? Его собственная мать баловала его "до невозможности", как писала сама Вера Николаевна в своей книге "Жизнь Бунина". Из всех детей он был самый любимый, общий любимчик, все его желания исполнялись — а у него их было предостаточно.

Некоторые биографы объясняют его трудный характер этим слишком легким детством, тогда он и приобрел привычку требовать от близких все. Ему повезло, что и жена была согласна все отдавать ему.

Происходя из семьи политических деятелей (ее дядя Сергей Андреевич Муромцев был председателем Думы), Вера Николаевна была интеллигентной женщиной; она окончила естественный факультет Московского Университета, знала несколько языков, была переводчицей: перевела "Воспитание чувств" Флобера.

В Вере Николаевне было сочетание удивительных свойств, которое делало ее поистине идеальной женой. Красивая, скромная, умная, образованная, она была, кроме всего, наделена ангельски-великодушным характером, что позволяло ей переносить все шероховатости характера мужа. Две крупных удачи были у него в жизни, это — удивительная жена и Нобелевская премия. Которая из них послужила ему лучше, трудно сказать... Но совершенно ясно, что Вера Николаевна служила ему долгие сорок лет она с самоотречением выносила сложный характер своего Яна — так она называла его в память его далеких литовских предков. Уточню: основатель бунинской семьи оставил Литву в XV веке, чтобы обосноваться в России. Иван по-русски, Жан по-французски, по-литовски — Ян.

И Ян, со своей стороны, очень ценил жену и держался за нее, как держатся за жизнь. Он любил ее от всего сердца, даже если это было на его особый манер. Она сама писала брату Дмитрию Муромцеву:

"Для Яна нет никого, кроме меня. Никто никогда не сможет заменить ему меня. Он всегда повторяет это мне и моим друзьям (когда меня нет). Его главная беда в том, что он причиняет себе массу вреда своим характером, тем, что не хочет считаться ни с кем... Если бы я его оставила, это была бы катастрофа, говорит он; тогда как расставание с другими — всего только "неприятность..."

* * *

Вот какова была эта пожилая дама, которую я встретила в первый раз в кафе на плас де Терн и к которой меня сразу же потянуло.

"Тон делает музыку". Перефразируя это изречение, я скажу: "Выражение делает лицо." Выражение благорасположения и его следствия — терпимости, "делали лицо" Веры Николаевны; этих прекрасных свойств так не хватало мне и, главное, ее Яну!

А он продолжал флиртовать со мной под благосклонным взглядом жены — его подруги, сестры, матери. Было уже поздно, кафе закрывалось, и тут Бунин с возмущением заметил, что никто из его поклонников не собирается платить за угощение. Только что он был таким жизнерадостным и вдруг помрачнел. Он, должно быть, страдал и от того, что вынужден был платить, и от ущемленного самолюбия великого человека, которого обожатели бросают в момент, когда он больше всего нуждается в помощи.

Официант стоял и ждал, Бунин ждал тоже — напрасно. Положение становилось критическим. Наконец, уступая неизбежности, он показал пальцами, что платит за двоих: за себя и жену. Он забыл обо мне, вопреки всем правилам галантности и даже приличия; выходя из зала Дебюсси, он настаивал на том, чтобы вести меня в кафе, взял меня даже под руку, чтобы не упустить. Я задыхнулась от возмущения и уже собралась платить за себя, когда Вера Николаевна сказала гарсону, показывая на мой бокал: "Прибавьте еще один, пожалуйста". И с недовольным видом Бунин заплатил.

Итак, он играл влюбленного — больше перед собой, чем передо мной, он засыпал меня пневматическими письмами, которые стоили примерно столько же, сколько выпитое в кафе (но это было — для него, чтобы удовлетворить его нетерпение); он приглашал меня в кафе, думая, что кто-нибудь заплатит... Эти выводы привели меня в отчаяние. Был ли он скуп? Утверждали, что так, самые нетерпимые хулители говорили даже о его гнусной скаредности, при которой человек ничего не жалеет для себя и считает каждую копейку, когда речь идет о другом. Порой, однако, Бунин умел быть очень щедрым.

После присуждения ему Нобелевской премии он послал Куприну, который был тогда очень беден, пять тысяч франков. Куприн ответил ему трогательным письмом, где писал, что не знает, как ему выразить свою благодарность за этот "поистине царский" подарок... "Ты не можешь себе представить, в момент какой жуткой и мрачной нужды прибыли твои чудодейственные пять тысяч франков, как кстати подспела твоя братская помощь... Крепко целую тебя от всей души и благодарю тысячу раз". Замечу, что в те времена (1934 год) пять тысяч франков были порядочной суммой.

И то, что Бунин платил за меня с недовольным видом, и то, что никогда не принес мне ни одного цветочка — за все те месяцы, что длился наш "роман" (я не могу заставить себя написать это слово без кавычек), и то, что он ни разу не пригласил меня в ресторан, хотя много раз грозился пригласить — может быть, все это было от бедности, а вовсе не от жадности? Не знаю, каково было его материальное положение в этом 1946 году; знаю только, что два года спустя он бился в той же самой "жуткой и мрачной нужде", про которую писал ему Куприн.

Как бы то ни было, его поведение в кафе меня огорчило. Но восхищение, которое вызвало у меня его выступление, не пропало. Я написала ему письмо, чтобы ему это сказать; не помню, в каких словах это было выражено, — никогда не хранила черновики своих писем к нему, о чем сейчас очень жалею. Иногда я спрашиваю себя, неужели Бунин

тоже уничтожил все мои письма после нашего разрыва, или они валяются в каком-нибудь пыльном архиве?

Возвращаясь к письму, которое я ему написала, думаю, что восхищалась я, главным образом, его искусством чтения: у него был дар точной интонации, выразительной мимики, прекрасной дикции, он отлично держался, — словом, имел все качества хорошего актера. Недаром великий Станиславский предложил ему сыграть Гамлета: он открыл в нем актера, когда слушал, как Бунин читал свои воспоминания о Чехове и о Московском Академическом театре, ныне исчезнувшем, а тогда как раз отмечавшем свою пятидесятилетнюю годовщину.

"Мое чтение, — писал Бунин, — вызвало настоящий взрыв восторга. Воскрешая наши беседы с Антоном Павловичем, повторяя его слова, я имитировал его интонации, и это произвело волнующее впечатление на его семью: его мать и сестра плакали".

В ответ на мое письмо, полное восхищения, — новая пневматичка:

9 июля 1946

Дорогая черноокая газель, ничего не понимаю! Сейчас вечер девятого июля, а мне только что подали Ваше письмо от седьмого или Вы описались — или негодяй консьерж скрывал его от меня целых двое суток! Если так, не сносить ему головы!

В ответ должен сказать Вам следующее: за объяснение в любви кланяюсь Вам земно, хотя Вы и издеваетесь надо мной; читал я, увы, плохо — сдерживал все время кашель; голубая кофточка под электрическим светом при входе в ресторан не могла не казаться зеленоватой — это физический закон; белая татарская шапочка была очаровательнее — т.е. Вы в ней были очаровательны, и я тайком пожирал Вас глазами — извините меня, как извинял сатиров поэт А.К. Толстой, сказавший так: "Я понимаю сатиров, но не извиняю их... Нет, я извиняю их!" У Тэффи, Бог даст, буду — и надеюсь поговорить с Вами о наших ссорах крупно: кто в них виноват?

Кто, злая газель? Больше писать не могу — рука отказывается, нынче писал без отдыха целых пять часов. Очень огорчен, что четверг еще не скоро.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Ив. Бунин

П.С.О делах поговорим при свидании.

"О делах" — дела эти были связаны с возможностью перевода моей автобиографической книги на русский; имелся в виду и мой перевод одного из рассказов Бунина на французский. Наши бесконечные споры не мешали нам помнить о литературе и, главное, о нашей... Бунин всегда мучился вопросами о трудностях письма.

"... Но что это за мучение, какое невероятное страдание — это искусство письма, — говорил он своему родственнику Пушешникову. — Я начинаю писать, произношу самую простую фразу, но вдруг вспоминаю, что эту фразу уже сказал Лермонтов или Тургенев. Я ее поворачиваю на другой манер, она становится пошлой; я опять ее меняю, но чувствую, что опять не годится, что она получается в стиле Амфитеатрова или Брешко-Брешковского. Множество слов, слова самые обыкновенные, — невероятное количество самых пошлых слов — я избегаю их употреблять... ничего не получается. Иногда за все утро мне удается написать несколько строк, да еще ценой каких мучений. Я задаю себе вопрос, сколько должны платить за такую адскую работу?.. всю свою жизнь я страдал от неспособности выразить то, что хочу..."

Так рассуждал Бунин о своем процессе письма.

* * *

Воскресенье

Дорогая писательница, исполняя Ваше приказание доставить Вам мою книгу, должен зайти к Вам на минутку, чтобы передать ее в Ваши собственные руки: как это можно сделать? (Оставить у Вашей консьержки боюсь — а вдруг она не передаст Вам книгу? А вдруг книга пропадет?) Может быть, сообразовите позвонить мне завтра? (от 12 до 2-х). Я очень

занят, но между пятью и шестью часами все же мог бы явиться к Вам — повторяю, на минутку.

Я очень тронут, что Вы ласковы со мной.

Ваш обожатель.

Amata nobis quantum amabitur nulla!

Каждый влюбленный знает — все знают, — что для этого состояния характернее всего необходимость видеть, слышать, чувствовать присутствие того или той, которого (-ую) он (или она) любит или считает, что любит... Мы должны были увидеться в четверг. Но найден предлог — книга может пропасть (почему?). Почему надо ее отдавать самому? Хотя меня эти детские хитрости и раздражали, но я позвонила своему благородному старцу и пригласила его прийти ко мне завтра к пяти часам — и он прибыл с точностью, которой я в нем восхищалась, пожалуй, больше, чем его литературой. Придя "на минутку", он просидел битых три часа, к тому же три часа ожесточенного спора.

Чтобы поднять себе цену, он заявил, что Советы сулят ему мосты из золота, лишь бы возбудить в нем желание ехать в Россию; предпочтительнее — навсегда, но в крайнем случае, хоть на время. Что же они ему обещают? Все. Золотой дождь, одну дачу в окрестностях Москвы, другую — в Крыму; почести, славу, благодарность, любовь молодого поколения ныне и присно. Когда он кончил перечислять, я глумливо спросила:

— Почему бы не признаться, что вам обещали гарем, где каждая социалистическая республика будет представлена красоткой, избранной на конкурсе красоты?

— Смейтесь, дорогая моя, смейтесь по вашей привычке. Все равно, если я соглашусь вернуться в СССР, мне это не помешает быть тем знаменитым писателем, не помешает тому, что передо мной будут заискивать, что меня будут ласкать и осыпать золотом.

Это была правда. Я уже упоминала о новых связях между Советами и эмиграцией. Но ведь невозможно менять взгляды, как перчатки. Могла ли белая эмиграция прийти в сог-

ласие со страной, где только язык оставался прежним, все же другое было резко отличным от их прежней родины?

Тэффи, не представлявшая себе ни на секунду, что может принять приглашение, которое зачеркнет всю ее жизнь, сказала мне однажды:

— О какой родине мы толкуем? Та, которую я потеряла, для меня не просто некое пространство между границами, где растут березки, так трогательно воспетые поэзией. Это прежде всего нематериальная сущность, чьи элементы насильственно разрушены и заменены другими, которых я не приемлю. Если бы я вернулась, я бы оказалась в чужой стране. Душа моей родины умерла; а в этой новой стране, построенной на развалинах, я бы себя потеряла.

Так рассуждало большинство эмигрантов. Некоторые, правда, думали, что родина по сути остается неизменной — какие бы вывески история на нее ни нацепила. И они возвращались. Бунин не обязан был возвращаться навсегда, он мог туда поехать на месяц-два.

— Надеюсь, вы примете предложение, — сказала я. — Как, должно быть, приятно шагать по золотому мосту!

— Для такой большевички, как вы, — может быть.

— Имейте в виду, что настоящий большевик презирает золото, — сказала я педантично. — Знаете, что говорил об этом Ленин?

Он высокомерно покачал головой.

— Ленин говорил: когда во всем мире наступит коммунизм, из золота будут строить общественные уборные, чтобы покончить с идолопоклонством перед тельцом. Но вернемся к нашим баранам: почему бы вам не поехать в Россию? На этом ненавистном Западе вы все равно были и остаетесь иностранцем.

— А как мне быть с воспоминаниями о гражданской войне? Знаете, сколько дорогих мне людей погибло? Красные преследовали их, расстреливали, гнали, грабили...

— Забыть. Всякая гражданская война — жестокая вещь, — это зарождение нового общества. Война в прошлом, теперь не так. Будем жить настоящим.

— Это зарождение государства, которое я ненавижу: тиранического, безбожного. Оно тоже в прошлом?

— А чем вам мешает их атеизм? Вы считаете себя христианином, но ведь на самом-то деле вы живете, как язычник, точно так же, как они — все это одно лицемерие.

Его лицо выражало отчаяние и гнев. Он перекрестился раз десять маленькими, поспешными крестиками посреди груди, повторяя тихонько: "Боже, упаси, Боже, упаси!" Но я безжалостно продолжала:

— Да, да, вы не чтите главных заповедей христианства! Знаете ли вы, например, как дурно волочиться за замужней женщиной, особенно, когда сам женат? Адюльтер — это грех в чистом виде.

— Все мы грешники.

— И да здравствует грех, раз его не избежать? Вы создали маленькую религию "для себя", гарантирующую вам моральный комфорт.

— И вы будете меня учить? Вы, мусульманка? Да как вы смеете?

Больше часа длилась эта битва... Внезапно меня осенило вдохновение, и я, изменив тон на любовный, умоляюще сказала:

— Дорогой Иван Алексеевич! Правда, вам надо поехать в Москву, хотя бы для меня, на месяц. А меня взять с собой секретаршей.

Ах, как мне захотелось вдруг ехать в Москву — с ним! Я представила себе Кремль, приемы, разговоры с интеллигентными советскими людьми...

Если Париж стоил обедни, то путешествие в Россию стоило уступок. И я прибавила: "Если вы возьмете меня с собой, я буду у ваших ног, я стану вашей рабой".

Он разразился сардоническим смехом: "Так и вижу вас рабой, м о е й рабыней!" Однако мысль о том, чтобы поехать со мной в путешествие (свадебное), которое должно было открыть перед ним новые горизонты, захватила его, он задумался. Он понимал, что я даю ему козырь, которым надо сыграть ловко: не слишком компрометируя себя, он может

наобещать мне с три короба, а это меня смягчит и заставит больше считаться с ним — он так в этом нуждался...

А я? Я подливала ему красного вина, которое он поглощал в невероятных количествах. Размякший от вина и моего внимания, он вдруг пустился в откровенности и поведал мне, что алкоголь необходим ему так, что во время оккупации, на юге, он пил денатурат.

Я возмутилась:

— Но это же отвратительно! Во время революции мужики лакали денатурат, когда не было водки. Меня тошнит от одного этого воспоминания. Не выношу пьяниц!

Бунин подпрыгнул в кресле, стукнул палкой об пол (он никогда не расставался с ней — может быть, рассчитывал когда-нибудь треснуть и меня по строптивой башке) и зарорал, заикаясь от возмущения:

— Вы переходите всякие границы! Ни одна женщина еще так со мной не обращалась!

— Возьмите меня в Москву, я буду вам рабски покорна, я...

Не слушая меня, он продолжал:

— Короли и королевы обращались со мной почтительно. Великие писатели писали письма, полные восхищения. Люди самых высоких рангов выражали мне свое уважение, а вы...

Приняв смиренный вид, я попросила прощенья и воззвала к его снисходительности: он должен понять, что в моей мусульманской семье страх перед алкоголем мне внушали с детства, с тех пор я его не выношу. Он подулся немножко, потом отошел.

— В самом деле, — в голосе его еще звенела обида, — в самом деле, в жизни не встречал такой строптивой, такой агрессивной женщины, как вы: может быть, только поэтесса Гиппиус, о которой вы, конечно, никогда не слышали, в области русской литературы вы невежда.

Проглотив обиду, я возразила, что он ошибается и что я даже читала ее стихи.

— В самом деле? — Вид его выражал недоверие. — После нашего бегства из России я разыскал ее в Сербии. Король,

который воспитывался в Санкт-Петербурге и был большим русофилом, пригласил нас — ее с мужем и меня. Когда нас ввели в его кабинет, он двинулся нам навстречу и произнес французское приветствие. Тогда Гиппиус кокетливо воскликнула:

— О, к о р о л ь , это нехорошо, почему вы не говорите с нами на нашем языке?

И милый король, галантный, как всегда, послушался ее. Вам надо писать по-русски, на в а ш е м языке, слышите!

Снова возмущение, снова споры... Так проходили наши встречи: вверх-вниз-вверх... настоящие американские горы, шотландский душ; затишья и бури, желчь, вдруг обращающаяся в мед. Это возбуждало ум, но вредило нервам.

* * *

В его письме от 14 июля я снова обнаружила эту его заботу о русском языке:

Воскресенье 14 VII 46

Дорогая добрая газель, паки и паки (это по церковно-славянски значит: опять и опять) благодарю за ласковое письмецо и извещаю, что надеюсь, если буду жив-здоров, быть у Вас во вторник около девяти или, если позволите, в восемь с половиной. Идти в синема, сидеть в темноте (и не видеть вас), а кроме того и в духоте, мне не улыбается, а посему, если Вы решите провести там вечер, позвоните мне и прикажите явиться к Вам в какой-либо другой день.

Завтра вечером я позван к Пантелееву на писателя Симона. Если буду у Вас во вторник, расскажу о нем.

Пишете Вы по-русски все лучше и лучше, только в последнем письме есть маленькая чепуха — французская. Вы говорите об узбекском романе: "Перелистывая его, он мне показался занятым". Кто кого перелистывал? Выходит, что он сам себя. По-русски же надо было сказать так: "Пере-

листавая его, я нашла его занятым". Впрочем, и сам Толстой ошибался в подобных случаях (благодаря тому же французскому языку): "Въехав в лес, ветер стих..." Выходит, что въехал в лес ветер.

Навеки плененный Вами*

Почетный Академик Российской Императорской Академии Наук

Ив. Бунин.

* Недаром я написал Вам в первый же раз: "У одного человека сердце ушло из рук..." А Вы намека не поняли.

* * *

Понедельник, 18 ч. вечера

Милый друг, вот какая случилась история: вчера, придя от Вас, я чувствовал (как и по дороге, в метро) сильный озноб и смерил температуру: оказалось 39,7! Выпил от страха порядочно рому, принял аспирину, хорошо заснул — утром 38,5. После завтрака вышел, взял такси, завез Вас "Освобождение Толстого"* и заехал к доктору: не оказалось ничего плохого, кроме большой слабости, а температура упала до 37. Приеду к Вам в четверг, если завтра-послезавтра буду нормален — и если Вы не побойтесь меня принять (ведь все-таки это у меня, очевидно, нечто гриппозное). Если побойтесь, нестесняйтесь, пожалуйста — напишите мне отказ — и я ничуть не обижусь: я сам очень боюсь всяких зараз. А молчание Ваше приму за согласие видеть меня.

По-прежнему обожаю Вас, но все еще чувствую полынью в душе — от того, как слабо Вы оценили мои рассказы — восхитились одной "Старухой" да и то только в силу гуманны-тарно-социальных соображений (на которых в искусстве далеко не уедешь).

За всем тем имею честь кланяться. Чок Якши!

Ваш старый собрат по перу.

П.С. Кажется, я все-таки уеду на месяц-полтора: есть такая писательница (Врангель), которая зовет меня ехать с ней в Леванду (под Марсель).

* Пожалуйста, не подумайте, что хотел зайти, не звоня, подсунул под дверь.

Это письмо требует комментариев:

Во-первых, Бунин панически боялся болезней и смерти; он боялся их всю жизнь, его ипохондрия широко известна. Он вечно считал свой пульс, по ночам слушал, как бьется его старое сердце, разглядывал себя в зеркале, прислушивался к малейшей боли и, чуть что, бежал к доктору. В юности ему угрожал туберкулез, и уже в 1911 году он писал своему другу, что доктора советуют ему жить в мягком климате:

"При таких условиях я могу работать и чувствовать себя сносно", писал он. По этой же причине он подолгу жил на Капри, а потом в изгнании на юге Франции.

Во-вторых, с каждым днем Бунин страдал все сильнее от того, как мало я придаю значения его творчеству. А уж когда он узнавал, что я восхищаюсь чьим-то чужим, досада его не имела границ. Он знал только одно избранное имя, которому я должна принадлежать безраздельно.

И, наконец, в-третьих: П.С. Постскриптум был предназначен для того, чтобы возбудить мою ревность; старая уловка влюбленных для оживления затухающей любви.

* * *

Назавтра рано утром молодой человек в каскетке разбудил меня, он принес пневматическое письмо, которое было комментарием к предыдущему:

29 июля 46.

Понедельник

Боюсь, дорогая моя, что то, что я написал Вам вчера насчет моих рассказов, Вы истолкуете неверно — подумаете, что я огорчился за себя, из честолюбия: нет, я опять огорчился за Ваше равнодушие к художественной стороне нашего ремесла.

Нынче, дай Бог не сглазить, я совсем здоров. И вина не пил. Позвольте поэтому поцеловать Вас.

Ваш Ив. Б.

* * *

В 1946 году машины еще не запрудили все улицы, проспекты, тротуары и даже умы Парижа; можно было перелететь на велосипеде с одного конца Парижа на другой, не боясь, что вас каждую минуту может раздавить наглый автомобиль. У меня был велосипед, и я ездила на нем каждый день. Хотя пневматичка Бунина меня тронула очень мало, я все же оседлала своего алюминиевого рысака и отправилась на улицу Оффенбах, чтобы оставить у консьержки книги и письмо для мэтра. Что было в этом письме? Увы, не помню, оно было скорее всего мирное, судя по ответу, который пришел на следующее утро:

Вторник

Только что получил Ваш текст, дорогая моя, очень благодарю за все. В четверг надеюсь быть. Нынче опять скакнула моя температура, но меня утешил доктор Беляев, который как раз нынче принес мне свой роман: доктор Зернов приписал эти скачки печени, а Беляев нервозности и дал мне фосфострихнал. Рад, что Толстой Вам понравился. Что до "равнодушия", то я говорил вообще, а не о моей литературе. Была Врангель (приглашала в Леванду). Навряд мне подойдет, боюсь москитов. Вечером буду читать Ваш рассказ. "Деревню" принесу. Целую Вас в плечико.

П.С. — Еще новое мнение врача. Жена вернулась только что от доктора Болотова. Он находит, что болезнь идет от никотинового отравления: я слишком много курю. Сам черт не разберет, кому верить! Пришла домработница, и, чтобы встать всем этим докторам перо, я просил ее купить мне две пачки сигарет!

* * *

В настоящий момент Бунин держал меня в руках, потому что предвиделась поездка в Советский Союз. Он беззастенчиво пользовался этой приманкой, и ему очень помогало в этом присутствие в Париже писателя Константина Симонова и его жены, известной актрисы, посланных для связи с белой русской интеллигенцией Парижа. Они, понятно, рвались увидеть главу западной русской литературы — и были милостиво приняты, несмотря на обычную его недоброжелательность ко всему, что шло из Красной России — будь то вещи или люди, искусство или наука. Эта терпимость объяснялась, пожалуй, красотой и привлекательностью актрисы. Я умираю от желания встретиться с советскими людьми, — особенно такого ранга, и просила Бунина познакомить меня с ними. А он только и мечтал предстать передо мной во весь рост — в окружении обожателей, которые ценили и почитали его, как он того заслуживал. Он обещал сводить меня на вечер Симонова, где тот будет читать свои произведения — в том же самом зале Дебюсси, где прежде выступал Бунин. Тем более, что писатель и его жена, восхитительная и очень молодая — подчеркнул старый ловелас — просили его почтить вечер своим присутствием.

— А что мне будет, если я познакомлю вас с Симоновыми? — спросил он меня.

— Я считала, что бескорыстие — признак высокого строя души, но, поскольку это не ваш случай, вы получите... ну, скажем... поцелуй.

Я остереглась обозначить место поцелуя: в щеку или в лоб — по-отцовски, или в уста — как возлюбленный. Я не хотела огорчать его таким уточнением. Должно быть, Бунин размышлял и уже строил испанские замки. Зайдя в мечты довольно далеко, он воскликнул:

— Я бы съел вас живьем!

Он рычал, как великан из сказки, стал похож на "пожирателя". Тэффи его всегда так называла, он сам любил себя так именовать, придавая этому слову более высокое, метафизическое значение.

Тэффи, которая давно была знакома с Буниным и знала почти все о его жизни, применяла к нему термин "пожиратель" вовсе не в переносном смысле. Она рассказывала мне, что он всегда сам открывал продуктовые посылки, которые в трудные дни присылали ему поклонники из Америки, и пожирал большую и лучшую часть их. Более того, однажды, когда они с женой чем-то отравились, одна поклонница принесла им бульон, сваренный ею из овощей "для больных", Бунин один сожрал его до последней ложки. У него была своеобразная манера любить свою жену... В другой раз он получил от поклонника курицу, у нее был крупный недостаток — она была очень маленькая. Бунин попросил Веру Николаевну как следует зажарить ее. Вера Николаевна это сделала, после чего имела неосторожность на полчаса уйти. Придя, она застала только косточки и остов от курицы.

В ожидании будущих благ, он принес мне нечто реальное: приглашение на вечер Симонова.

* * *

На следующий день, после его визита, меня разбудил все тот же подросток в каскетке, который принес пневматическое письмо от Бунина. Итак, на протяжении суток, я получила от него три письма.

Первое:

Четверг

Милый друг, я ошибочно сказал Вам, что вечер Симонова — в воскресенье. Боюсь, что и пойдете Вы на него в воскресенье — не взглянув на билет. А на самом-то деле вечер будет в понедельник (12 августа).

Горячо целую Ваши холодные руки.
Ваш "Многоуважаемый Иван Алексеевич".

Второе:

Суббота

Сейчас пришло Ваше письмо от четверга, дорогая моя, — бесконечно благодарю за него и надеюсь поговорить о нем при

свидании, а пока спешу повторить, что вечер Симонова не в воскресенье, а в понедельник; я уже писал Вам об этом, но боюсь: а вдруг Вы не получили моей прошлой пневматички?

Боюсь тем более, что Вы пишете именно о воскресенье.

Ваш Ив. Б.

Третье — поразительное — не было подписано, на нем не стояло даты: кому придет в голову датировать крик души?

"Нынче видел во сне, что Вы вышли замуж за Тарасова — и проснулся в такой тоске, что выпил подряд четыре рюмки коньяку и выкурил три папиросы".

Затем следовало несколько слов, тщательно зачеркнутых. Тарасов — это настоящая фамилия Анри Труайя, он тоже уроженец Кавказа, мы о нем говорили в нашу последнюю встречу, потому и приснился ему этот сон, повергший его в такое отчаяние. Ну а я была этим тронута, глубоко тронута. Даже если он играл в любовь, чтобы воскресить молодость, чтобы облегчить тяжесть своей, идущей к концу жизни, эта игра — если это была игра — действовала на него, как подлинная любовь: бессонница, нервное напряжение, оживление, огорчение, все это сопровождалось последствиями, пагубными для драгоценного здоровья, которым он так дорожил. И все это было не так просто: его склонность к алкогольным напиткам и сигаретам брали верх над страхом смерти: ведь он покупал сигареты, чтобы показать нос врачам... А напитки? Все мы сотканы из противоречий.

* * *

Не знаю, сколько времени я просидела, откинувшись на спинку кресла, с письмом Бунина в руках. Трудно навести порядок в мыслях, когда вы сильно взволнованы; если выделить главное, это было не столько мыслью, сколько сожалением, что я не встретила Бунина тридцать-двадцать лет назад. В 76 лет он мог так взволноваться тем, что увидел во сне, сохранить такую свежесть чувств!.. Ведь он не смог уснуть, написал несколько слов на пневматичке и снес на почту

рано утром, — я получила ее в семь утра... Нельзя было не восхищаться такой пылкостью, я была в отчаянии от того, что не могу его любить и не могу подарить ему это последнее любовное приключение. Я жалела об этом, думая одновременно и о нем, и о себе. В первый раз за наше знакомство я испытала большую нежность к этому старцу, одаренному любовью и страданиями. Мне хотелось любить его, но я знала, что не смогу. Я восхищалась им и восхищалась безгранично. Я была ему благодарна за то, что убедилась: склероз и возраст не могут уничтожить душу человека, и мне хотелось высказать ему свое восхищение и привязанность. Это чувство совсем другого свойства, не то, чего он ждет от меня, но что делать? Никто не властен полюбить по приказу.

Я хотела, чтобы по крайней мере мои добрые намерения не пропали даром; и я позвонила Бунину — спросить его, по горячим следам, — хочет ли он прийти ко мне вечером.

— Дорогой Иван Алексеевич, ваша пневматичка меня необыкновенно растрогала. Действительно, вы стоите всех Гете на свете. Ваша душа восхитительно молода, и я в восторге от вас!

От неожиданной нежности моего голоса, к которой я его не приучила, от смысла моих слов у него, должно быть, прервалось дыхание, на несколько мгновений он замолк. Потом ответил взволнованным голосом, что поспешит к моим стопам в тот самый миг, который я ему назначу.

Сколько трогательных признаний было произнесено в тот день, я была сама предупредительность, сама любезность, мой престарелый возлюбленный сиял от счастья, встреча наша становилась с каждой минутой идилличнее и прекраснее... Это длилось час с лишним, до той минуты, пока между нами не начались разногласия: забил отравленный фонтан и все испортил. Речь шла о благоприобретенных признаках. Всякий знает, что таковые не наследуются, большинство биологов держится этого мнения. Но Бунин не знал, он никогда даже не слышал об этом; он прожил всю жизнь в убеждении, что культура передается по наследству и что ребенок, родившийся в 1946 году, пропитан культурными навыками родителей...

— Избавьтесь от ваших заблуждений, — говорила я ему, — этот ребенок при рождении точно такой же, как ребенок сибирского мужика. Он будет отличаться от него потом благодаря воспитанию.

— Это уж слишком, это слишком! Вы во всем чрезмерны, но тут вы просто заговариваетесь, вы кощунствуете! Если верить вам, то все усилия человечества тщетны: культура ни к чему не приводит, усовершенствование человека не имеет продолжения...

— Я ничего не говорю такого. Повторяю: благоприобретенные признаки, умственные или духовные, не передаются клетками от родителей к младенцу, и при рождении современный младенец не отличается ни в чем от доисторического ребенка. Каждого человека приходится обучать заново. Это все прописные истины.

— Вы меня сбиваете с толку, я чувствую себя дураком, я ни в чем больше не уверен. Нет, правда, еще немножко, и я потеряю всю свою уверенность.

Меня разбирал смех:

— Вы потеряете самоуверенность! Скорее ястреб запоет соловьем!

Бунин трясся и рычал, я тряслась и рычала; мы оба рычали по очереди и вместе; — конец нашему согласию, оно длилось недолго.

* * *

На следующий день я получила замечательное письмо от Бунина, оставленное у консьержки вместе с книгой "Лица", куда он вложил фотографию.

Воскресенье

Джанум, почему Вы не рассказали мне вчера о Вашем свидании с Ладинским, на поклон к которому бегали Вы, воплощенное честолюбие?

Это, во-первых. Во-вторых, до сих пор поражаюсь: наследственности, оказывается, не существует, слова "породистый

человек, породистая собака, породистая лошадь" больше никуда не годятся, Байрон, родившийся лордом, ровно ничем не отличался от любого калужского мужика, предки которого от Гостомысла до Ленина не знали даже азбуки и счет вели по пальцам! По наследственности передаются, оказывается, черты физические, темперамент, ум и глупость и многое, многое прочее, но никак не культура! В-третьих: убедился вчера уж совсем точно, что он, — не Байрон, конечно, и не калужский мужик, — любит Вас дьявольски и всячески и что кончится все это, разумеется, большим, большим горем для него, по Вашему жестокосердию. (Кстати: если люди говорят по-русски, то разговор про любовь на "вы" означает, что настоящей любовной близости между ними нет.)

И, наконец, вот что: как Вам не грех, попугаем долбя о моей старости, забывать, что два месяца в конце прошлой осени и два в начале прошлой зимы я был сплошь и тяжко болен! Вот одна молодая московская женщина, недавно посетившая Париж, не долбила этого, твердо верила, что я еще покажу себя, когда совсем оправлюсь!

И еще одно, наконец: болтаю, что попало, потому, что совсем не наговорился с Вами вчера.

А за всем тем — до свидания (и лучше всего не в синема, а, поехав на Монпарнас в русский кабачок "Доминик", где мы могли бы выпить по две, по три рюмки водки).

Ваш Ив. Бунин,
общепризнанный великий писатель.

Каждая строка этого письма нуждается в комментариях:

1. — Ладинский был литературным критиком, но прежде всего мужчиной, стало быть, лицом подозрительным для Бунина, который считал все мои отношения с любимым представителем этого пола за опасность и за измену.

2. — Он верил в передачу по наследству благоприобретенных культурных признаков. Гостомысл — легендарный новгородский князь, который пригласил Рюрика править Русью, "от Гостомысла до Ленина" включает всю историю России.

3. — Поскольку мы говорили друг другу "вы", он заключил, что настоящей любовной близости между нами нет. Значит, если бы не это ненавистное "выканье", он был бы уверен, что мы настоящие любовники. Я не могла даже возмущаться таким явным ослеплением и самообманом.

4. — "Молодая дама из Москвы" была, очевидно, мадам Симонова. Если слушать Бунина, то красotka-актриса считала, что он еще покажет себя... когда поправится. Как могла бы эта красotka, в первый и единственный раз увидев Бунина, пуститься с ним в такие фривольные разговоры в присутствии мужа? Желание вызвать во мне ревность толкнуло Бунина, обычно столь осмотрительного, на скользкий путь вранья.

5. — Он считал, что мы "не наговорились вчера"... Я с удовольствием отметила, что он не сердился на меня за все колкости, которые я на него сыпала, а значит, и я по справедливости простила ему его резкость. Итак, мир между нами был восстановлен.

Что же до подписи: "общепризнанный великий писатель", то под шуточной формой он напоминал мне об этом историческом факте. Конечно, он был признан великим писателем задолго до присуждения ему Нобелевской премии, — признан собратями по перу:

Куприн восхищался им еще в начале века.

Горький писал своему другу в 1911 году: "А лучший современный писатель — Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренно любит литературу и русский язык".

Александр Блок писал тогда же: "...Поэзия Бунина возмужала, на лице ее утвердились те немногие, но жестокие и уверенные линии, один взгляд на которые заставляет сейчас же и безошибочно сказать: это Бунин... мы должны... признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии".

Ромэн Роллан писал в 1922 году Бунину: "Я вижу... как некоторые ваши произведения и обновленный вашими усилиями русский язык еще обогатили и без того богатое русское искусство. Более всего проняли меня два ваших рассказа: "Братья" и "Соотечественник"."

Томас Манн в 1926 году писал, что по художественным и нравственным качествам... "Господин из Сан-Франциско" может быть поставлен рядом со "Смертью Ивана Ильича" Толстого. По поводу этого же рассказа Горький писал автору: "Если б Вы знали, с каким волнением читал я Вашего "Господина из Сан-Франциско".

Должно быть, сравнение с Толстым, которого Бунин ставил выше всех, польстило ему. Он обожал его, и в юности считал себя его учеником. Он говорил, что как только слышал имя своего идола, "его душа воспламенялась, ему сразу хотелось писать — он снова верил в литературу". На столике, возле кровати умирающего Бунина, до последнего дня лежал томик Толстого.

Мы всегда были единомышленны в отношении к Толстому. Он читал "Войну и мир" пятьдесят раз, я только десять, и мы говорили о Толстом с одинаковым увлечением, с благодарной любовью за радости, которые он нам доставил.

Таким же единомышленным было и наше отношение к Достоевскому, которого мы оба не любили. Насколько нас восхищал мир Толстого, настолько угнетал мир Достоевского. Его герои, пьяницы, слишком святые или слишком уж грешные, все доведенные до края, кричащие, убивающие, ворующие, жертвующие собой, путающиеся в своих мыслях и чувствах, как в тропическом лесу, доводили нас до ощущения, что мы живем в безумном мире. Достоевский — больной, неуравновешенный, несчастный во всех смыслах, внес во все произведения собственное патологическое начало, его мир напоминает тюремную камеру, кишашую призраками, которые ведут между собой философско-социолого-метафизические разговоры, а иногда впадают в истерику, устраивают скандалы и убивают друг друга. Читая Достоевского, Бунин выходил из себя. Его аллергия доходила до того, что он считал его скверным писателем, лишенным стиля и композиции, и полагал, что только массовым коллективным гипнозом можно объяснить тот факт, "что его обожают во всем мире".

* * *

Итак, после бури установилось затишье. Я была довольна, памятуя о вечере Симонова... и написала Бунину письмо, закрепляющее наше перемирие и приглашающее его зайти ко мне.

Его ответ последовал со следующей почтой:

Четверг.

Ваше письмо (помеченное вторником) получил только вчера, дорогая моя, почему и позвонил только вчера. Теперь уточняю: быть у Вас в субботу, к сожалению, не могу.

Карточку из "Русского сборника", которую Вы почему-то одобряете и на которой я вышел похожим на какого-то знаменитого итальянского баритона с могучей грудной клеткой, постараюсь найти и дать Вам. Маленькая карточка, которую Вы не тотчас нашли с письмом в "Лике", оказалась в нем только по тому же припадку странной и глуповатой возбужденности, что заставил меня в тот день ни с того ни с сего написать Вам и письмо это и довести его вместе с "Ликой" (вовсе не меланхоличной, по-моему, а довольно напористой, в общем).

Что до немца, то он никак не может быть лучше меня, будучи лыс, а телом противно бел, как все от природы волосом рыжеватые.

Замечание мое насчет "ты" в русском языке в русских чувствах никак не относилось к кому-нибудь лично, было чисто академическое, ни на что не притязало, — иначе было бы бестактно (хотя все мы подвержены бываем иногда слабостям, не всегда владеем собой — Вы как писатель непременно должны знать и помнить это).

С удовольствием узнал, что есть у Вас талант к рисованию, — не шучу: право, совсем не плоха Ваша карикатура на себя!

Вчера у нас обедали Алданов и Надежда Александровна. Эта приписка совсем ни к чему, но что делать — я всегда излишне болтлив с Вами!

Как всегда тронут Вашим ласковым письмом и целую Вашу руку.

Ив. Б.

Понедельник

Очень жалею, милый друг, что в каком-то странном веселье написал и завез Вам свою болтовню со всем прочим, тоже ненужным, и тем заставил Вас ехать ко мне с благодарственной запиской. Огорчен Вашим здоровьем — поправляйтесь, пожалуйста, не умирайте ни в каком случае!

Ваш Ив. Б.

* * *

Через несколько дней Бунин, в виде исключения, вместо пневматического письма позвонил мне сам.

— Джанум, — сказал он растроганным голосом, — я ненавижу телефон, но звоню вам, чтобы умолить вас прийти на рю Мюет в большое кафе напротив вокзала, вы знаете вокзал Окружной железной дороги? Мне необходимо вас увидеть, поговорить с вами. Не отказывайтесь: погода дивная, мы сядем на террасе, будем глядеть на каштаны. Приходите, будьте хоть один раз милой газелью, я так нуждаюсь в ней, не огорчайте меня — вы и так слишком часто меня огорчаете. Приходите!

Я колебалась: To go or not to go? Я чувствовала себя еще усталой после нашей последней схватки и повторения не хотела. Но в то же время мне, как всегда, хотелось чувствовать, что меня любят, ощущать свое могущество, превратиться в волшебную фею, которая может даровать счастье или несчастье. Бунин умел заставить меня ощущать мое могущество. Я взвешивала: чего во мне больше — раздражения, расчета (Москва), усталости или потребности чувствовать себя любимой. А голос Бунина, дрожащий от нетерпения, повторял:

— Приходите, Джанум, приходите! — И я согласилась.

После завтрака я взяла велосипед и не спеша отправилась на Мюет. Бунин был прав: погода стояла восхитительная —

редкостная в Париже, ни одного облачка, высоко в синем небе носились и парили ликующие птицы. На авеню Анри Мартен, почти пустой, цвели огромные купы — по четыре каштана вместе, воробьи и дрозды галдели так громко, что заглушали шум редких автомобилей.

Я издали заметила Бунина, необыкновенно прямо сидевшего на террасе кафе. Он обзирал улицу, откуда я должна была с минуты на минуту появиться, — мы оба любили точность.

Увидев меня, он просиял, поднялся, быстрый и легкий, как юноша, и помог мне пристроить велосипед. Я села около него, заказала кофе, спрашивая себя, не придется ли мне за него платить. Но этот фатальный момент был еще далеко, и в ожидании его я медленно потягивала черную жидкость, только отчасти напоминавшую кофе (дело происходило в 1946 году).

С левой стороны я ощущала ласковый взгляд Бунина, с правой — меня ласково грело солнце. Я молчала, говорить мне было нечего, я ждала продолжения: ведь это он хотел со мной поговорить. Но он, казалось, не спешил, еще меньше спешила я: настоящее было хорошо и так.

Внезапно меня охватило чувство радости. Кто из нас не испытывал таких мгновений, когда душу пронзает предчувствие счастья? Это предчувствие пронзает, как стрела, оно иллюзорно, и мы это знаем; и все-таки каждый раз заново надеемся на недостижимый рай, которого ждем до конца наших дней.

Охваченная этим приливом света, я повернулась к Бунину и улыбнулась ему, а он взволнованно прошептал:

— Газель моя.

— Моя ласковая газель, — поправила его я.

— Моя ласковая газель, — повторил Бунин, охваченный порывом радости. — Когда вы такая мягкая, с вами не может сравниться ни одна женщина в мире, даже знаменитая, красивая и такая молодая актриса, которую вы знаете. И, однако, как она умеет ценить меня... и не только как писателя...

Он продолжал небрежным тоном:

— Представьте себе, она позвонила мне сегодня утром и попросила меня быть ее кавалером на вечере ее мужа.

Я не слышала больше колоколов, возвещающих счастье, — отлетело мое счастье; я слышала только фальшиво-небрежный тон Бунина, который выдавал его надежду на мою ревность. От моей мягкости не осталось и следа; холодно взглянув на него, я спросила резким тоном:

— Это для того вы умоляли меня прийти, чтобы объявить об изменении программы? Я думала, признаться, что мы вместе пойдем на этот вечер, рука об руку...

— Джанум, она так настаивала.

— Дорогой Иван Алексеевич, хватит лицемерить. На самом деле вы надеялись увидеть, как я гибну от ревности, созерцая вас под руку с красивой, знаменитой и такой молодой неотразимой актрисой. Нет, наоборот, я довольна, что вы в хороших отношениях с ней и ее мужем. Вы сами знаете — почему. Только уж, поскольку я вовсе не хочу слушать Симонова в одиночку, я отказываюсь идти на этот вечер. Вы мне потом расскажете все подробно.

Надо было видеть его лицо: оно уже не могло побледнеть, он и так был бледен, но это была маска горя. Он не предвидел моей реакции, не ожидал, что его макиавеллевские расчеты провалятся — что я их опрокину.

— Ну вот, вы превратились в злую газель. Уверяю вас, что вовсе не хотел вызвать вашу ревность. Послушайте, я попробую все исправить.

— Не делайте ничего. Будем дипломатичны, я настаиваю на "будем". Сопровождайте мадам Симонову, ухаживайте за ней, будьте обольстительны. Я настаиваю на этом, — почему? Вы знаете.

— Но я совсем не хочу идти на этот вечер без вас. Я все устрою, Джанум. Я виноват, я не должен был соглашаться на просьбу Симоновой, но я найду достойный выход из положения.

— Боже упаси. Ухаживайте за ней, я настаиваю.

Огорчение Бунина перешло в гнев. Из несчастного лицо его превратилось в злое, и, как он обычно делал в минуту злости,

он застучал палкой по полу так, что все обернулись в нашу сторону. В психоанализе есть такой термин — "перенесение". Раз уж он не мог поколотить меня, так уж лучше, чем совсем не бить, — бить землю.

Я сразу превратилась в дьяволицу и старалась уколоть его побольнее. Первая пришедшая мне в голову пошлость годилась:

— К тому же, кто знает? Раз уж вас так пьянит крайняя молодость этой оболъстительной актрисы, может быть, вам и перепадет кое-что от ее молодости, крохи какие-нибудь.

— Что ж, может быть... потом я бы вам что-нибудь передал. Потому что, моя бесценная Джанум, вам крохи молодости пригодятся тоже.

— Меньше, чем вам: вы забываете, что вы старше меня на сорок лет.

— Южанки стареют рано.

— Пьяницы тоже.

— Вы видели меня пьяным?

— Нет. Ваш алкоголизм — самый скверный: он скрытый и постоянный. Вы не напиваетесь, но пьете непрерывно.

— В этом я подражаю вашим дорогим французам, хоть раз в жизни. Вы же знаете, как пьют русские: напиваются, буянят, падают без чувств. Я считаю французскую манеру пить более изысканной: вот я ее и выбрал.

Между нами установилось враждебное молчание. Слышно было только птичье пенье да разговоры за соседним столиком. Около нас сидела молоденькая пара, они держались за руки и пожирали друг друга глазами. Для них вся вселенная, вся галактика, вся земля сосредоточились друг в друге. Они разбудили во мне старые, никогда не сбывшиеся мечты: найти в мире мою вторую половину, которая, быть может, ищет меня и никогда не найдет.

Бунин тоже смотрел на них. О чем думал он, о чем мечтал? Быть любимым, не попрошайничать вечно, как он это делал с тех пор, как познакомился со мной. А я была вовсе не газелью, а дикообразом, который ежеминутно колол его, царапал, ранил. Он вспоминал о доброте других женщин, кото-

рые были в его жизни, а, главное, о доброте жены. И я услышала глубокий вздох:

— Ну вот мы и квиты, — сказал он устало.

— Установим мир или, по крайней мере, перемирие?

— Хорошо. Но вы знаете, что перемирия недолговечны.

— Лучше временный мир, чем война. И лучше пусть будет злая газель, чем ее не будет вовсе.

Он взял меня за руку; я не отнимала ее. В публичном месте я ничем не рисковала. Мы расстались друзьями и он, сделав широкий жест, заплатил за мой кофе.

В тот же вечер я получила пневматичку:

Понедельник

Час дня.

Дорогая моя, все устроилось — говорил с Симоновой: "кавалеры" у нея будут, я буду сидеть, конечно, с Вами, но она заедет за мной, а затем мы с ней, по ее настойчивому желанию, заедем за Вами около девяти часов, если Вы позволите, если захотите нас ждать. Надеюсь, что захотите, потому что желали познакомиться с Симоновыми.

Ваш Ив. Б.

* * *

Если я захочу! Я отчаянно хотела этого, особенно теперь, когда речь уже не шла о том, чтобы меня задвинуть, как Золушку, в угол залы, откуда я смогла бы восхищаться на досуге Буниным возле столь молодой актрисы. Я ликовала. Наконец-то я познакомлюсь с этими выходцами из другого мира, теперь уже легендарного для меня, который я покинула двадцать два года тому назад, если верить календарю, а если верить ощущениям, то век назад...

Казалось бы, ничем я не привязана ни к Кавказу, ни к Советскому Союзу, но все, что там происходит, вызывает мое страстное любопытство. Я мечтала поехать туда туристом, прогуляться по городам и деревням, поговорить с советскими людьми, посмотреть, как они живут и работают. Все это мог

бы мне доставить Бунин — но захочет ли он? Знает ли он сам, чего хочет? Может быть, он и решил уже для себя, но не хочет мне говорить, чтобы иметь эту приманку и держать меня в своей власти. Он хитер и коварен. Как раскрыть его намерения?

* * *

Чтобы не заставлять их подниматься на третий этаж, я в назначенный час спустилась и вышла на улицу. Подождав несколько минут, я увидела сверкающую черным лаком огромную машину американской марки, воплощение роскоши и изысканности; за рулем — шофер в каскетке... Не хватало только, чтобы в этом шикарном автомобиле советского посольства сидел надменный буржуй в цилиндре с толстой сигарой во рту — для воплощения западного разложения.

Я увидела, как Бунин пытается вылезти из этого лимузина, и, чтобы избавить его от усилий, подбежала к машине сама. Бунин представил меня молодой блондинке, которая заверила меня, что рада нашему знакомству. Произнесла она это на очень хорошем русском языке. В полутьме автомобиля я уловила взглядом старой парижанки строгую элегантность черного платья и шею Нифертити, сумочку от Гермеса и модную прическу. Я была приятно удивлена как ее видом, так и манерой обращения: ведь, по правде говоря, Бунин навязал ей мое общество. Она же была сама благожелательность и обходительность. Может быть, все это было наигранное — она была актриса, — но какая разница? Да и играла ли она? Во всяком случае, я пленилась ею. Никто не избавлен от влияний, и я, под влиянием эмигрантов, невольно составила себе ложное представление о примитивности советских людей. Предубеждение всегда приводит к глупости.

Внезапно я почувствовала что-то вроде ревности: если бы эта женщина — такая тонкая, такая красивая и т а к а я м о л о д а я — была свободна, Бунин оставил бы меня. Как бы он был счастлив, если бы прочел мои мысли!

Сидя между ними двумя на таком широком сиденье, что могло поместиться еще двое, он, казалось, был на вершине блаженства. Он повторил несколько раз: "Ну вот, ну вот" и сжимал мне руку. Потом, повернувшись ко мне, прошептал:

— Вы довольны, милая газель?

Да, милая газель была довольна; в настоящий момент ей незачем было превращаться в дикообраза, и она даже ответно пожала ему руку.

(Окончание в следующем номере)



Сергей ДОВЛАТОВ

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

(из сборника "Компромисс")

...И остался я без работы. Может, думаю, на портного учиться? Я заметил — у портных всегда хорошее настроение...

Встречаю Логинова с телевидения.

— Привет. Ну, как?

— Да вот, ищу работу.

— Есть вакансия. Газета "На страже родины". Запиши фамилию — Каширин.

— Это лысый такой?

— Каширин — опытный журналист. Как человек — довольно мягкий...

— Дерьмо, — говорю, — тоже мягкое.

— Ты что, его знаешь?

— Нет.

— А говоришь... Запиши фамилию.

Я записал.

— Ты бы оделся, как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся, как следует...

Между прочим, его жена звонит как-то раз... Стоп! Открывается широкая волнующая тема. Уведет нас далеко в сторону...

— Заработаю — оденусь. Куплю себе цилиндр...

Я достал свои газетные вырезки. Отобрал наиболее стоящие. Каширин мне не понравился. Тусклое лицо, армейский юмор. Взглянув на меня, сказал:

— Вы, конечно, беспартийный?

Я виновато кивнул. С каким-то идиотским простодушием он добавил:

— Человек двадцать претендовало на место. Поговорят со мной... и больше не являются. Вы хоть телефон оставьте.

Я назвал случайно осевший в памяти телефон химчистки.

Дома развернул свои газетные вырезки. Кое-что перечитал. Задумался...

Пожелтевшие листы. Десять лет вранья и притворства. И все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность... Не в самих листах, а там, на горизонте...

Трудна дорога от правды к истине.

В один ручей нельзя ступить дважды. Но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно. А за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушитель и хмельных работяг. Это известно всем, кто хоть раз побывал за кулисами...

Начнем с копеечной газетной информации. ("Советская Эстония". Ноябрь. 1973 г.)

Научная конференция. Ученые восьми государств прибыли в Таллин на 7-ю конференцию по изучению Скандинавии и Финляндии. Это специалисты из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. На конференции работают шесть секций. Более 130 ученых: историков, археологов, лингвистов выступят с докладами и сообщениями. Конференция продлится до 16 ноября".

Конференция состоялась в Политехническом институте. Я туда заехал, побеседовал. Через пять минут информация

была готова. Отдал ее в секретариат. Появляется редактор Туронок, елейный, марципановый человек. Тип застенчивого негодяя. На этот раз возбужден:

— Вы допустили грубую идеологическую ошибку.

— ?

— Вы перечисляете страны...

— Разве нельзя?

— Можно и нужно. Дело в том, как вы их перечисляете. В какой очередности. Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем — Польша, СССР, ФРГ...

— Естественно, по алфавиту.

— Это же внеклассовый подход, — застонал Туронок, — существует железная очередность. Демократические страны — вперед! Затем — нейтральные государства. И, наконец, — участники блока.

Я переписал информацию, отдал в секретариат. Назавтра вбегает Туронок:

— Вы надо мной издеваетесь! Вы это умышленно проделываете?!

— Что такое?

— Вы перепутали страны народной демократии. У вас ГДР после Венгрии. Опять по алфавиту?! Забудьте это оппортунистическое слово! Вы работник партийной газеты. Венгрию — на третье место! Там был путч.

— А с Германией была война.

— Не спорьте! Зачем вы спорите?! Это другая Германия, другая! Не понимаю, кто вам доверил?! Политическая близорукость! Нравственный инфантилизм! Будем ставить вопрос...

За информацию мне уплатили два рубля. Я думал — три заплатят...

("Советская Эстония". Июнь. 1974 г.)

"Соперники ветра. (Таллинскому ипподрому — 50 лет.) Известные жокеи, кумиры публики — это прежде всего опытные зоотехники, которые настойчиво и терпеливо совершенствуют породу, развивают у своих "воспитанников"

ценные наследственные признаки. Кроме того, это спорт — смены высокой квалификации, которые раз в неделю отчитываются в своих успехах перед взыскательной таллинской публикой. За пятьдесят лет спортсмены отвоевали немало призов и дипломов, а в 1969 году мастер-наездник Антон Дукальский на жеребце Тальник выиграл Большой всесоюзный приз. Среди звезд таллинского ипподрома выделяются опытные мастера Л.Юргенс, Э.Ильвес, Х.Ныммисте. Подает надежды молодой спортсмен А.Иванов.

В ознаменование юбилея на ипподроме состоится 1 августа конный праздник".

Таллинский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны. Земля усеяна обрывками использованных билетов. Возбужденная крикливо толпа циркулирует от бара к перилам.

Ипподром — единственное место, где торгуют в розлив дешевым портвейном.

В кассе имеются билеты двух типов — экспрессы и парки. Заказывая экспресс, вы должны угадать лидеров в той последовательности, в какой они финишируют. Парка — угадываете двух сильнейших финалистов в любой очередности. За парный билет, соответственно, выплата меньше. И за фаворитов платят мало. На них ставит весь ипподром, все новички. Значительный куш дают плохие лошади, случайно оказавшиеся впереди. Фаворита угадать не трудно. Труднее предусмотреть неожиданное — вспышку резвости у какого-нибудь шелудивого одра. Классные наездники за большие деньги придерживают фаворитов. Умело отстать — это тоже искусство. Это даже труднее, чем победить. Впереди оказываются посредственные лошади. Выигрыши достигают иногда ста пятидесяти рублей. Однако хорошие наездники вряд ли захотят иметь с вами дело. У них солидная клиентура. Проще договориться с жокеем третьей категории. Играть на бегах ему запрещено. Он действует через подставных лиц. Берет программу завтрашних скачек и размечает ее для вас. Указывает трех сильнейших лошадей в каждом заезде. А вы, согласно указаниям, покупаете билеты и на его долю тоже.

Я решил написать юбилейную заметку об ипподроме. Побеседовал с директором А.Мельдером. Он вызвал Толю Иванова.

— Вот, — говорит, — молодое дарование.

Мы пошли с Ивановым в буфет. Я сказал:

— У меня есть лишние деньги, рублей восемьдесят. Что вы посоветуете?

— В смысле — поддать?

— Я имею в виду бега.

Иванов опасливо на меня взглянул.

— Не бойся, — говорю, — я не провокатор, хоть и журналист.

— Да я не боюсь.

— Так в чем же дело?

В результате он "подписался":

— Дукель (то есть — Дукальский) ставит через приезжих латышей. Это крутой солидняк. Берут заезды целиком, причисывают наглухо. Но это в конце, при значительных ставках. А первые три заезда можно взять.

Я достал программу завтрашних скачек. Толя вынул карандаш...

После третьего заезда мне выплатили шестьдесят рублей. В дальнейшем мы систематически уносили от тридцати до восьмидесяти. Жаль, что бега проводились раз в неделю.

Летом Толя Иванов сломал ногу и обе ключицы. Лошади тут ни при чем. Он выпал пьяный из такси.

С ипподромом было покончено. Уже несколько лет "соперник ветра" работает барменом в "Мюнди".

("Советская Эстония". Октябрь 1974 года.)

Р о ж д е н и е и с т и н ы . (В гостях у машиностроителей.) Недавно здесь побывал художник Владимир Макаренко. Экспозиция его работ вызвала оживленную дискуссию. Макаренко — ищущий художник. Ему чужды декларативность и риторика. За внешним формальным подобием он ищет внутреннюю сущность, живую душу. В работах Макаренко зашифрована определенная символика цвета, близкая на-

родным традициям. Например, глубокий синий цвет передает ощущение покоя, алый — выражение страсти, бледные тона — символ робости, тревоги, надежды. В творчестве Макаренко ощущаются уроки больших мастеров. Например, его "Девушка с письмом" выполнена с той мерой благородной наивности, которая заставляет вспомнить имена русских художников 18 века, мастеров так называемой "парсуны", переходной формы от иконописи к светскому портрету. Мы видим силуэт девушки с тлеющим письмом в руке. Разумеется, замысел художника шел дальше уничтоженного в сердцах послания, он обобщен до символа: гибнут надежды, рушатся иллюзии. Холсты Макаренко оптимистичны, но лишены восторженности, красочны, но не аляповаты, добросовестны, но чужды мелочной кропотливости. Плодотворная, содержательная встреча на Таллинском машиностроительном заводе будет полезна для молодого художника и для рабочих, техников, инженеров — любителей живописи".

Макаренко появился в Таллине неожиданно. Обликом своим резко эпатировал чопорные вкусы партийной газеты. Изношенные джинсы его расцветкой напоминали глобус. Джемпер был похож на рыболовную сеть. Грязные кружевные манжеты достигали фиолетовых ногтей. Усы лежали на плечах, как аксельбанты. Он быстро разыскал меня. Представил рекомендации ленинградских друзей. Макаренко был наслышан о таллинских социальных привилегиях и хотел покорить этот город. В камере хранения Балтийского вокзала лежали его работы. Я вызвался оказать содействие молодому живописцу. Деликатно посоветовал ему несколько стандартизировать внешний облик. Сменить его на более посредственный. Договорился с машиностроительным заводом о предстоящей выставке. Макаренко оказался покладистым и разумным человеком. На встрече с молодыми производственниками держался отлично. Не заискивал и не унижал их. Беседа велась на среднем уровне. Язвительные реплики Макаренко парировал сдержанно и терпимо:

— Допустим, Шагал заблуждался. Допустим, Герасимов и Налбандян — истинные художники. Почему же в букинистическом магазине за альбом Шагала дают сто рублей, а за Налбандяна — три?

Я написал заметку об этой выставке. Макаренко действовал последовательно и лояльно. О нем заговорили. В ту пору его ленинградские друзья организовали ряд неофициальных выставок. Их объявили хулиганами. Возникли слухи об арестах. Самый талантливый — Михаил Шемякин — уехал во Францию. Работы Макаренко стали браковаться выставочными комитетами. Он служил истопником. Подал документы на выезд. Ему отказали...

Я не знаю, как обстоят его дела сейчас. Надеюсь, все хорошо. Рождение истины — длительный процесс. Подождем. Художники долговечны. Век журналистов и писателей значительно короче. Кстати, вы заметили, что творцы малых форм помирают раньше создателей эпопей. Такова мудрость природы. Мирские начинания должны быть полностью завершены и готовы к отчету. Неоконченные романы — миф. Все они есть законченные произведения в жанре неоконченного романа. И вообще, не старое яблоко падает, а зрелое...

("Советская Эстония". Октябрь. 1975 г.)

"Эстонский букварь."

**У опушки в день ненастный
Повстречали зверя.
Мы ему сказали: "Здравствуй!"
Зверь ответил: "Тере!"
И сейчас же ясный луч
Появился из-за туч..."**

"Советская Эстония" выходит на русском языке. И вот мы придумали новую рубрику — "Эстонский букварь". Для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск. Написал довольно милые стишки. Штук восемь. Универсальный журналист, я ими тайно гордился. Дочке показал...

Звонит инструктор ЦК Ваня Труль:

— Кто написал эту шовинистическую басню?

— Почему — шовинистическую?

— Значит, ты написал?

— Я. А в чем дело?

— Там фигурирует зверь.

— Ну.

— Это что же получается? Выходит, эстонец — зверь? Я — зверь? Я, инструктор центрального комитета партии, — зверь?!

— Это же сказка, условность. Там есть иллюстрации. Ребяшки повстречали медведя. У медведя доброе, симпатичное лицо. Он положительный...

— Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран...

— Не понял.

— Да что тебе объяснять! Не созрел ты для партийной газеты, не созрел...

("Советская Эстония". Май. 1974 г.)

"Наряд для марсианина. (Человек и профессия.) Чего мы ждем от хорошего портного? Сшитый им костюм должен отвечать моде. А что бы вы подумали о закройщике, изделие которого отстает от требований моды... на двести лет? Между тем, этот человек пользуется большим уважением и заслуживает самых теплых слов. Мы говорим о закройщике-модельере Русского драматического театра ЭССР Вольдемаре Сильде. Среди его постоянных клиентов испанские гранды и мушкетеры, русские цари и японские самураи, более того — лисицы, петухи и даже марсиане.

Театральный костюм рождается совместными усилиями художника и портного. Он должен соответствовать характеру эпохи, выражая при этом дух спектакля и свойства персонажей. Представьте себе Онегина в мешковатых брюках или Собакевича в элегантном фраке... Для того, чтобы создать костюм раба Эзопа, Вольдемару Сильде пришлось изучать старинную живопись, греческую драму...

Сюртук, кафтан, бекеша, ментик, архалук — все это строго определенные виды одежды со своими специфическими чертами и аксессуарами.

— Один молодой актер, — рассказывает Сильд, — спросил меня: "Разве фрак и смокинг не одно и то же?.." Для меня это вещи столь же разные, как телевизор и магнитофон.

Посещая спектакли других театров, Вольдемар Хендрикович с профессиональной взыскательностью обращает внимание на то, как одеты персонажи.

— И только на спектаклях моего любимого вахтанговского театра, — говорит В. Сильд, — я забываю о том, что я модельер, и слежу за развитием пьесы — верный признак того, что костюмеры в этом театре работают безукоризненно.

Безукоризненно работает и сам Вольдемар Сильд — портной, художник, человек театра".

На летучке материал похвалили.

— Довлатов умеет живо писать о всякой ерунде.

— И заголовок эффектный...

— Слова откуда-то берет — аксессуары...

Назавтра вызывает меня редактор Туронок.

— Садитесь.

Сел.

— Разговор будет неприятный.

"Как все разговоры с тобой, идиот", — подумал я.

— Что за рубрика у вас?

— Человек и профессия. Нас интересуют люди редких профессий. А также неожиданные аспекты...

— Знаете, какая профессия у этого вашего Сильда?

— Знаю. Портной. Театральный портной. Неожиданный аспект...

— Это сейчас. А раньше?

— Раньше — не знаю.

— Так знайте же, в войну он был палачом. Служил у немцев. Вешал советских патриотов. За что и отсидел двенадцать лет.

— О, Господи! — сказал я.

— Понимаете, что вы наделали?! Прославили изменника родины! Навсегда скомпрометировали интересную рубрику!

— Но мне его рекомендовал директор театра.

— Директор театра — бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой.

— Что значит — голубой?

— Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал?

— Приставал, думаю. Еще как приставал. Руку мне, журналу, подал. То-то я удивился...

Тут я вспомнил разговор с одним французом. Речь зашла о гомосексуализме.

— У нас за это судят, — похвастал я.

— А за геморрой у вас не судят? — проворчал француз...

— Я вас не обвиняю, — сказал Туронок, — вы действовали, как положено. То есть, согласовали кандидатуру. И все-таки надо быть осмотрительнее. Выбор героя — серьезное дело, чрезвычайно серьезное...

Об этом случае говорили в редакции недели две. Затем отличился мой коллега Буш. Взял интервью у капитана торгового судна ФРГ. Это было в канун годовщины октябрьской революции. Капитан у Буша прославляет советскую власть. Выяснилось, что он беглый эстонец. Рванул летом шестьдесят девятого года на байдарке в Финляндию. Оттуда — в Швецию. И так далее. Буш выдумал это интервью от начала до конца. Случай имел резонанс, и про меня забыли.

("Советская Эстония". Март. 1975 г.)

"Самая трудная дистанция. Тийна Кару родилась в дружной семье, с золотой медалью окончила школу, была секретарем комитета ВЛКСМ, увлекалась спортом. Тут нужно выделить одну характерную деталь. Из многочисленных видов легкой атлетики она предпочла бег на 400 метров, а эта дистанция, по мнению специалистов, наиболее трудоемкая в спорте, требует сочетания быстроты и выносливости, взрывной силы и напряженной воли к победе. Упорство, последовательность, аскетический режим — вот факторы, которые определили биографию Тийны, ее путь к намеченной цели. Окончив школу, Тийна поступает на химическое отделение ТГУ, участвует в работе СНО, охотно выполняет ком-

сомольские поручения. На последнем курсе она становится членом КПСС. Затем она — аспирантка Института химии АН ЭССР. Как специалиста-химика Тийну интересует механизм воздействия канцерогенных веществ на организм человека. Диссертация почти готова.

Тийна Кару ставит перед собой высокие реальные цели. Верить, что она добьется успеха на своей трудной дистанции".

С Тийной Кару нас познакомили общие друзья. Интересная, неглупая женщина, молодой ученый. Подготовил о ней зарисовку. Изредка Тийна попадалась мне в разных научных компаниях. Звонит однажды:

— Ты свободен? Мне надо с тобой поговорить.

Я пришел в кафе "Райа". Заказал джина. Она сказала:

— Я четыре года замужем. До сих пор все было хорошо. Летом Руди побывал в Москве. Затем вернулся. Тут все и началось...

— ?

— Происходит что-то странное. Он хочет... Как бы тебе объяснить... Мы стали чужими...

Я напрягся и внятно спросил:

— В половом отношении?

— Именно.

— Чем же я могу помочь?

— То есть, почему я к тебе обратилась? Ты единственный аморальный человек среди моих знакомых. Вот я и хочу проконсультироваться.

— Не понимаю.

— Обсудить ситуацию.

— Видишь ли, я даже с мужчинами не обсуждаю эти темы. Но у моего приятеля есть книга — "Технология секса". Я возьму, если хочешь. Только ненадолго. Это его настольная книга. Ты свободно читаешь по-русски?

— Конечно.

Принес ей "Технологию". Книга замечательная. Первую страницу открываешь, написано "Введение". Уже смешно. Один из разделов начинается так: "Любовникам с непомерно

большими животами можем рекомендовать позицию — 7". Гуманный автор уделил внимание даже таким презренным существам, как любовники с большими животами...

Отдал ей книгу. Через неделю возвращает.

— Все поняла?

— Кроме одного слова — "исподволь".

Объяснил ей, что значит — исподволь.

— Теперь я хочу овладеть практическими навыками.

— Благословляю тебя, дочь моя!

— Только не с мужем. Я должна сначала потренироваться.

Подчеркиваю, все это говорилось без тени кокетства, на эстонский манер, основательно и деловито.

— Ты — аморальный человек? — спросила она.

— Не совсем.

— Значит — отказываешься?

— Тийна! — взмолился я, — так это не делается! У нас хорошие товарищеские отношения. Нужен срок, может быть, они перейдут в другое чувство...

— Какой?

— Что — какой?

— Какой нужен срок?

— О, Господи, не знаю... Месяц, два...

— Не выйдет. Я в апреле кандидатский минимум сдаю... Познакомь меня с кем-нибудь. Желательно с брюнетом. Есть же у тебя друзья-подонки?

— Преобладают, — сказал я.

Сижу, думаю. Шаблинский, конечно, ас, но грубый. Розенштейн дачу строит, вконец обессилел. Гуляев — блондин. У Димы Шувалова — триппер. Оська Чернов? Кажется, подходит. Застенчивый пылкий брюнет. Правда, он скуповат, но это чепуха. На один раз сойдет.

Спрашиваю Чернова:

— Много у тебя было женщин?

— Тридцать шесть и четыре под вопросом.

— Что значит — под вопросом?

Оська потупился:

— Всякого рода отклонения.

Годится, думаю. Изложил ему суть дела. Оська растерялся:
— Я ее видел как-то раз. Она мне даже нравится. Но, согласись, вот так, утилитарно...

— Что тебе стоит?

— Я все-таки мужчина.

— Вот и посодействуй человеку.

Купил я на свои деньги бутылку рома, пригласил Осю и Тийну. Тийна мне шепнула:

— Я договорилась с подругой. Три часа квартира в моем распоряжении.

Выпили, закурили, послушали Би-Би-Си. Оська пустился было в рассуждения:

— Да, жизнестойкой может быть лишь преследуемая организация...

Тийна его перебила:

— Надо идти. А то подруга вернется.

Отправились. Утром Тийна мне звонит.

— Ну, как? — спрашиваю.

— Проводил меня и ушел домой.

Звоню Чернову:

— Совесть есть у тебя?

— Верить ли, старик, не могу. Как-то не получается...

— Что ты за мужик после этого?!

Оська возмутился:

— Я имел больше женщин, чем ты съел котлет. А такой не встречал. Самое удивительное, что она мне нравится.

Пригласил их обоих снова. Выставил недопитый ром. Ушли. Тийна звонит:

— Черт бы побрал твоего друга!

— Неужели, — говорю, — опять дезертировал?

— Ты понимаешь, сели в машину. Расплачивался Ося в темноте. Сунул шоферу десятку вместо рубля. Потом страшно расстроился. Пешком ушел домой... Я видела, что он сует десятку. Я думала, что на Кавказе это принято. Что он хочет произвести на меня впечатление. Ведь Ося — грузин?

— Ося — еврей. И вообще, его настоящая фамилия — Шварцман.

Снова ему звоню:

— Оська, будь же человеком!

— Понимаешь, была десятка, рубль и мелочь...

В третий раз их пригласил.

— Послушайте, — говорю, — я сегодня ночую в редакции.

А вы оставайтесь. Шнапс в холодильнике. Будут звонить — не реагируйте. Двери запереть, чтобы Оська не сбежал?

— Да не сбегу я.

Отправился в редакцию дежурить. Тийна звонит:

— Спустись на минутку.

Спустился в холл. Она достает из портфеля шоколад и бутылку виски "Лонг Джон".

— Дай, — говорит, — я тебя поцелую. Да не бойся, по-товарищески...

Поцеловала меня.

— Если бы ты знал, как я тебе благодарна!

— Оську благодари.

— Я ему десять рублей вернула. Те, что он шоферу дал.

— Какой позор!

— Ладно, он их честно заработал.

Я спрятал бутылку в карман и пошел заканчивать статью на моральную тему.

("Советская Эстония". Апрель. 1975 г.)

"Память — грозное оружие! В греческой мифологии есть образ Леты, реки забвения, воды которой уносили пережитые людьми земные страдания. На берегу Леты человек получал жалкую временную иллюзию счастья. Его наивный разум, лишенный опыта и воспоминаний, делал человека игрушкой в руках судьбы. Но испокон века против течения Леты движется многоводная и неиссякаемая река человеческой памяти...

В городе Тарту открылся III республиканский слет бывших узников фашистских концентрационных лагерей.

Их лица одновременно праздничны и суровы. На груди у каждого скромный маленький значок — красный треугольник и силуэт голубки, нерасторжимые эмблемы пролитой

крови и мира. Они собираются группами в просторных холлах театра "Ванемуйне". Приветствия, объятия, взволнованная речь...

Рассказывает Лазарь Борисович Слапак, инженер-конструктор:

— Сначала я находился в лагере для военнопленных. За антифашистскую пропаганду и организацию побегов был переведен в Штутгоф... Мы узнавали своих по глазам, по одному движению руки, по неуловимой улыбке... Человек не ощущает себя жертвой, если рядом товарищи, братья...

Слет продолжался два дня. Два дня воспоминаний, дружбы, верности пережитому. Делегаты и гости разъехались, пополнив драгоценный и вечный архив человеческой памяти, и мы вслед за ними произносим торжественно и сурово, как предостережение, клятву и заповедь мира: "Никто не забыт, и ничто не забыто!"

Эти люди вызывали мое искреннее уважение. Я восхищался их трагическим опытом. Хотя кое-что меня смущало. Нарушало мои представления о фашистских концентрационных лагерях. А инженер Слапак прямо-таки озадачил. Его, ярко выраженного семита, за антифашистскую пропаганду и организацию побегов угнали в Штутгоф... Не сожгли в газовой камере, не повесили, не расстреляли... Я, конечно, очень рад за него. Однако мои представления на этот счет были куда трагичнее. Евреев, мне казалось, уничтожали за одно лишь еврейское происхождение. Лазарь Борисович рассказал мне совсем уж неправдоподобную историю:

"Для организации побегов требовались средства. Стали думать, как их раздобыть. И, представьте себе, нашли выход. Я неплохо играл в шахматы. И начальник лагеря был завзятым шахматистом. Решили организовать матч. Назначили приз — восемьдесят марок. Товарищи страстно за меня болели. Я выиграл семь партий из десяти. Начальник лагеря сказал: "Доннерветтер" и расплатился..."

Милая сценка, не правда ли? Возможно ли такое где-нибудь на Колыме?

Беседуя с прибалтийскими узниками фашизма, я обнаружил новую для себя эмоцию:

— Расскажите о себе.

— Я был моряком торгового флота. Немцы ошиблись. Посадили меня ни за что. Я не был военным моряком. Я был торговым моряком. Я не виноват. Меня посадили ни за что. В концентрационном лагере мне не понравилось.

Обращаюсь к сравнительно молодому человеку.

— Я был мальчишкой, когда оказался в плену. Меня отправили в лагерь. Это несправедливо. Я не подлежал мобилизации. И не занимался пропагандой. Фашисты морили нас голодом. Кроме того, в лагере не было женщин...

Эти товарищи как бы доказывали свою лояльность по отношению к немцам.

Может, с выходцами из Прибалтики обращались не так жестоко? Возможно, их щадили, как мучеников социализма? Не знаю... Рассказываю о том, что видел...

И последний штрих. Я появился в холле театра "Ванемуйне" не один. Со мной был фотокорреспондент Жбанков, запойный алкоголик. Среди бывших узников концентрационных лагерей Жбанков выделялся истощенностью и трагизмом облика. Группа пионеров ошибочно вручила ему букет роз неслыханной красоты. Жбанков смутился, но принял.

— Роскошный букет, — говорю.

— Это не букет, — скорбно ответил Жбанков, — это венок!..

На этом трагическом слове я прощаюсь с журналистикой. Хватит!

Мой брат, у которого две судимости (одна — за непредумышленное убийство), часто говорит мне:

— Займись каким-нибудь полезным делом. Как тебе не стыдно?!

— Тоже мне, учитель нашелся!

— Я всего лишь убил человека, — говорит мой брат, — и пытался сжечь его труп. А ты?!..

Мария БРЕНЕР

ОБЫСК

Маринка проснулась потому, что на нее смотрели. Взгляд был незнакомый, пугающий. "В комнате — чужие", — решила она и быстро открыла глаза. Перед кроватью стояли двое. "Встань, девочка, — сказал пожилой, — нам надо осмотреть твою постель". Маринка вскочила на пол, одергивая короткую ночную рубашку. Сзади стояла мать и напяливала на нее халат. "Который час? Где папа? Что они здесь делают?" — хныкала девочка. "Тише, пожалуйста, — прервала мать, — я тебе объясню потом. А сейчас отойди от кровати, ты видишь, им не терпится". — "Что же вы, Софья Зиновьевна, так неласковы с собственной дочерью? Ведь вы, кажется, врач. Должны бы понимать", — бросил пожилой, шаря под Маринкиным одеялом и простыней.

"Товарищ начальник, — послышался из другого конца комнаты женский голос, — отлучиться бы мне, ведь седьмой час, а я не спамши, да и Михайлу мово на работу собирать надо". — "Успеешь, Вера, мы тебе отгул на сегодня дадим, чего волнуешься?" — "Так что ж, что отгул. Ведь двор-то все

равно мне убирать. Да и за хлебом в очередь не поспею, так уж..." — "Знаешь что, гражданка Кузовкина, я с тобой потом поговорю, а сейчас ты мне мешаешь", — оборвал пожилой и приказал второму, молодому солдату, перевернуть Маринкин матрац. Чувствуя, что происходит что-то неладное, Маринка начала кричать громче: "Где Витя? Я хочу видеть папу. Почему они роются в моей кровати?" — "А здесь он, Виктор, здесь, только на кухню вышел", — словоохотливо протянула Вера.

Маринка знала дворничиху Веру, но не любила и боялась ее. Вера со своим семейством жила в их подъезде, на первом этаже. Когда Маринка пробежала мимо Вериной двери, то часто слышала крики и ругательства. Громче всех орал Юрка, Верин семнадцатилетний сын. Всякий раз, когда Маринка видела его, то старалась или спрятаться, или подойти к своему подъезду с черного хода, но однажды случилось по-другому.

Было это в тот день, когда она плелась из молочного магазина. Последнее время ходить туда для Маринки стало мукой. И совсем не потому, что нужно было стоять в очереди за молоком или сметаной, а из-за Зины, продавщицы. Эта пожилая женщина с гладко причесанными волосами и приветливыми ямочками на щеках почти всегда была там. Когда она возвращала Маринке банку со сметаной или бидон с молоком, то ласково, тихим голосом, обращаясь только к ней, говорила: "Ну что, жидовочка? Молочка захотела?" или уж совсем тихо: "И чего вас Гитлер всех не перевешал, не знаю?!"

Маринка никому не говорила об этих беседах, но каждый раз старалась оттянуть свой визит в молочную. Она убеждала маму, что не любит молоко и сметану, а вот за баранками готова стоять хоть два часа. Пожаловаться же на Зину было некому. Если матери, — то она расстроится и будет ходить в магазин сама. А ей некогда, и у нее большие ноги. Если Витке, — то он гаркнет: "Неужели ты так труслива, что не можешь постоять за себя?" Если отцу, — то он взорвется: "Кто? Где? Негодяйка! Я не оставлю этого". И, правда, не оставит. Но потом будет пить валидол, хвататься за сердце и смущенно улыбаться...

В этот раз Зина не только выдала свою обычную порцию, но и добавила: "Ничего! Скоро вы, жида, попляшете". Маринка шла и думала, что же ей делать. Может быть, сказать в школе. Она пионерка и должна говорить правду. Но когда Маринка представляла себе этот разговор, что-то ее удерживало.

В классе у нее было много подруг. Но никогда ни она, ни подруги не говорили о ее национальности. До недавнего времени Маринка даже не думала об этом.

Только год назад вернулся с фронта отец. Он часто играл с Маринкой, любил слушать про школьные дела и разговаривать с ее подругами. Маринка гордилась отцом, его ранами, орденами, военной формой и рассказывала ему все. Однажды она прибежала заплаканная и сказала, что Юрка назвал ее жидовкой. Отец возмутился и бросился искать Юрку. Потом объяснил Маринке, что так говорят только фашисты и негодяи и что воевал-то он как раз для того, чтобы этого не было.

И все-таки "это" было. Несколько недель назад учительница литературы попросила Маринку написать адреса всех желающих заниматься в литературном кружке. Маринка открыла последнюю страницу журнала и прочитала рядом с адресами учениц национальность каждой. В классе было тридцать девять русских и три еврейки. Две другие девочки-еврейки не были Маринкиными близкими подругами. Она даже не знала, что они тоже еврейки.

Такие мысли мешали Маринке, хотелось гнать их подальше. "Почему же так много фашистов и негодяев?" — крутилось в голове у нее по дороге домой. Бидон с молоком бил ее по ногам, глаза набухли, хотелось поскорее войти в подъезд и передохнуть.

В этот момент она заметила катающихся по земле ребят. Через секунду знала, что один из них, с черным протезом вместо руки, — знаменитый Юрка, а другой — ее собственный брат. Маринка, даже не успев испугаться, ринулась к ним. Схватив бидон двумя руками, она ударила им Юрку по голове. Молоко полилось, Юрка, ругаясь, отпустил Витьку, из-под земли вырос милиционер, а вокруг толпа. "Ну что ж, субчики,

пройдемте в отделение", — сказал милиционер, поглядывая на собравшихся. "Нет, нет, — закричала Маринка, — мой брат ничего не сделал, а он, — ткнув в Юрку пальцем, — всегда называет нас жидятами". Милиционер, сохраняя каменное выражение, увел их. Через час Витька уже был дома, заявив, что хоть из милиции отпустили обоих, Юрка теперь будет помалкивать, так как он успел еще до прихода милиционера ему влупить. К удивлению Маринки, Юрка и вправду после этого никогда не приставал к ним.

Но вот теперь в их комнате на стуле у окна сидела его мать и безразлично следила за происходящим. Наконец, пожилой оторвался от детской кровати. Его лицо выражало скуку и разочарование. "Ну, а что с этими коробками делать? — спросила мама. — Будете смотреть, или можно убрать? В комнате повернуться негде".

Оглянувшись, Маринка увидела на полу напротив шкафа ее любимые коробки. Мама хранила в них старые письма братьев. Трое из них до революции учились за границей и часто посылали своей младшей сестре открытки с изображением парижских набережных, брюссельских извозчиков, каких-то красавиц и ухоженных собак. Самой большой радостью для Маринки были те моменты, когда мама разрешала вечером забраться в ее кровать, вместе с одной из коробок. Тогда начинались их путешествия. Маринка рассматривала открытки, а мама читала послания, написанные мелким, неясным почерком. Дочь перебивала ее, хотела сразу же выяснить, почему Лев решил учиться в Льеже, возможно ли, чтобы кому-то не нравился Париж, как они могли просто так приглашать маму летом к себе, да и вообще, кто разрешил им поехать за границу? И мать рассказывала. О белом двухэтажном доме в Херсоне, где жила вся семья, об отце-лесоторговце, который так взглядывал на детей, что они сразу замирали, о любимой старшей сестре, про которую маму в гимназии спрашивали: "А? Так вы сестра Маруси? Ну так уж извольте вести себя подобающе. Маруся этого никогда бы не сделала". Часто эти рассказы ставили Маринку в тупик. "Ну скажи, мам, зачем вам нужен был такой боль-

шой дом? Неужели у тебя уже в пять лет была своя комната? Ну, а как же рабочие, которые работали для бабушки? Ведь вы эксплуатировали их?!" Маринка чувствовала, что матери становится скучно, но она все-таки продолжала: "Но ведь у папы ничего не было. Даже денег на учебу". Мать что-то говорила о том, что и в их семье особого богатства не было, что братья, учась за границей, жили скудно, что отец много работал. Но дочери все равно казалось, что раньше было несправедливо и что отец это понимает лучше. А белый дом, девочки в длинных платьях и мужчины с тросточками появлялись по ночам. Маринка чувствовала себя с ними вполне уютно и просила приходить чаще.

Иногда мать вспоминала революцию. Ее сестра вместе с женихом хотели уехать в Одессу, пароход по дороге взорвали, город захватывали несколько раз; то белые, то красные. И те, и другие брали заложников. В одну из ночей исчез мамин брат. Обещали отпустить утром. Прошла неделя. Жених мамин подруги, работающий в ЧК, разрешил прийти во время его дежурства и поискать дело брата. Все, что рассказывалось потом, так пугало Маринку, что она долго упрашивала мать разрешить спать вместе с ней. Мать говорила о большой комнате, где на полу стояло много серых мешков, набитых бумагами. "Дело твоего брата тоже здесь", — объяснил знакомый. Рыться пришлось целую ночь. И только под утро она нашла "дело" с пометкой сверху: "Расстрелять". Тогда она стала смотреть бумаги других в этом мешке. Но везде было то же: "Расстрелять". "Расстрелять". "Зачем, — закричала она, — вы издеваетесь надо мной? Ведь у вас только одно решение!" В ночи после этих рассказов в белом Маринкином доме прыгали какие-то существа в серых мешках с дырками вместо глаз.

Коробку, где были папины письма и открытки, мать рассматривала с меньшей охотой и уж вовсе не хотела читать вслух. "Лучше ты сама прочитаешь потом, когда нас не будет". Но и здесь у них была любимая бумажка. Это было объявление о том, что 20 июля 1929 года в восемь часов вечера состоится собрание жителей дома номер восемь на Чис-

тых прудах. На повестке дня вопрос о вселении бывшего красноармейца и нынешнего коммуниста Майского в квартиру номер четырнадцать. Мать была на этом собрании вместе со своей подругой и соседкой по четырнадцатой квартире Маргошей. Во время открытого голосования каждая подняла обе руки против предполагаемого жильца. Майского в квартиру все равно вселили, а девушек долго стыдили... Через несколько лет гражданин Майский стал маминым мужем.

Маринка слушала веселую историю о папином "вселении" и шумела: "Ну как ты могла быть против, мам? А как же я? А что было бы, если бы меня не было?" Мама хладнокровно отвечала, что в этом случае к ней сейчас никто бы не приставал с дурацкими вопросами. Она требовала от Маринки, чтобы, сложив все аккуратно в коробку, та шла спать.

...Сейчас коробки стояли перевернутыми. Рядом валялись кучи писем, пожилой ходил вокруг, время от времени вороша их носком, словно боясь взрыва, и уныло повторял: "Ну зачем, спрашивается, это было нужно хранить? Как будто делать больше нечего". — "Простите, пожалуйста, — взорвалась мама. — Ведь я как-то не подумала, что могу доставить вам столько хлопот!" — "Да уж! — хмыкнул пожилой. — Знаете что, давайте работать вместе: выберите мне письма только того брата, который остался за границей и с которым вы переписывались после войны". — "Ну нет, — рассердилась мама. — У меня другая работа. Уже восьмой час. А в девять ждут больные". — "Вы что? — перешел на крик пожилой. — Сметесь?! Больные вас сегодня не дождутся. А не будете помогать, не надо. Нам спешить некуда, сами до вечера останемся, но и вас задержим".

Сняв пиджак, он уселся на маленькую скамеечку возле коробок и стал перебирать письма. Маринка, потеряв надежду увидеть отца на кухне, бросилась к двери. "Ты куда, девочка?" — зашумел пожилой. — "К папе, на кухню, пустите", — орала она. — "Во-первых, его там нет, а, во-вторых, Софья Зиновьевна, следите за ребенком. Я ведь не нянчиться пришел, я..." — "Так что ж, девочка теперь и в уборную не может выйти?" — оборвала его мать. — "Ах, в уборную? Конечно,

конечно, — успокоился тот. — С Верой и пойдет. Это можно". "Я не хочу с Верой. При чем тут Вера?" — ревела Маринка, теперь уже понимая, что отца нет.

"Пойдем, Марина, пойдем. Я тебя не обижу. Не плачь", — тянула ее за рукав Вера. В темном коридоре она наклонилась к Маринкиному уху и зашептала: "Энти, мордастые, увели папку твоего ночью, часа в три. Сначала ко мне постучались и велели собираться. Понятой, сказали, будешь". Маринка отстранилась от Веры и, увидев свет на кухне, бросилась туда. На табуретке в углу сидел Витя, а в их кухонном столе рылся еще один в черном костюме и черных туфлях. "Витя! Где папа? Почему вы не разбудили меня?" — в полный голос кричала Маринка. Черный, не обращая внимания на нее, подзвал Витю: "Ну вот что. Здесь все. Этот нож заберу. Не похож он на хозяйственный". "Это папа сам делал, чтобы маме легче было мясо резать", — вмешалась Маринка. "Ну что ж, это интересно", — хмыкнул черный, смерив Маринку взглядом. Смутившись, она бросилась к уборной. Но дверь оказалась запертой. Через минуту оттуда выскочил, подтягивая голубые пижамные штаны, сосед Федор Алексеевич Новичков. Ни на кого не глядя и не зажигая света в коридоре, он метнулся к своей двери.

Федор Алексеевич был болен туберкулезом. По утрам надолго заперся в уборной, сплевывая что-то и отхаркиваясь. Его жена, Анна Васильевна, ища сочувствия, любила вспоминать: "Во время войны он о себе совсем не думал. Работал по четырнадцать часов в сутки. Вот результат". Она почему-то никогда не говорила, где работал ее муж, но Маринка хорошо помнила, что рассказывал ей папа. Когда немцы подошли к самой Москве, он на несколько часов приехал с фронта и появился в квартире неожиданно. Новичковы сначала долго не хотели его впускать. Потом путано объясняли, что не признали голос. Войдя в квартиру, отец не мог протиснуться к своей двери. Весь коридор был забит какими-то шкафами, тумбочками, чемоданами. "Это родственники просили поддержать некоторое время" — торопливо поясняли Анна Васильевна и Федор Алексеевич. Отец знал, что родственников у них в Москве

не было, и понял, что это вещи из квартир людей, уехавших в эвакуацию. Уличить Новичковых ему не хотелось. Было не до того. Торопился помыться, сменить белье. После войны, в 1946 году, Новичков уехал в командировку в Восточную Германию и вернулся совсем недавно. Теперь пианино, чемоданы, коробки стояли в коридоре не бедными родственниками, а хозяевами. Анна Васильевна щеголяла в шелковых платьях, их сын Борька катался на новом велосипеде, а мама неожиданно получила в подарок две пары чулок: "Возьмите, Софья Зиновьевна. Пожалуйста. Вы такой чуткий врач. Извините, что мы вас ночью иногда беспокоим". Мама поблагодарила, но от чулок отказалась, сказав, что они вредны для ее больных ног. Мамины ночные визиты к Новичковым сердили всю семью. "Зачем ты к нему ходишь? Ведь он подлец, и ты это знаешь". — "Вы ничего не понимаете. Он болен. Врач не может отказывать в таких случаях", — отвечала она. В последние недели Новичковы перестали беспокоить маму, и Анна Васильевна прекратила на кухне разговоры о здоровье мужа.

Черный подождал, пока за Федором Алексеевичем захлопнется дверь и предложил всем вернуться в комнату. Разгром там еще более усилился. Кроме писем, на полу посредине валялись журналы, газеты. Пожилой стоял на стуле и просматривал книги на верхней полке. Большинство ставил назад, но некоторые кидал солдату, который клал их в уже наполовину набитый серый мешок.

"Семенов, журнал "Америка" клади по номерам, — сказал пожилой солдату. — Так легче потом будет делать опись конфискованного". Увидев черного, пожилой ловко соскочил со стула: "Слушай, Вась, займись письмами. Силов моих нету. Нужно выбрать только Абрама Медведева после 1945 года". — "А чего там, вали все в мешок. На месте разберемся, которые Абрамчиковы". "Ты что? Инструкцию не знаешь? Не положено!" — "Так мыслимо ли, Никанор Семенович, эту махину разобрать? Может, в отдел позвонить, чтобы прислали кого". — "Ну ладно, посмотрим", — неохотно процедил пожилой.

"Товарищ начальник, — снова зашумела Вера, — вона

сколько у вас помощников. Не могу я больше. Третьего дня, когда с восьмого этажа брали, так и то быстрее кончили. Разрешите уйти. Иначе помру здесь". — "Ну и дура же ты, Кузовкина. Несешь без разбору. Ладно, отчаливай. От тебя все равно проку нет, дрыхнешь на стуле. Но чтоб через два часа была назад". — "Буду, буду, спасибочки!" — обрадовалась Вера и выскочила из комнаты.

"Ну вот что, Вась. Займись стенным шкафом, а уж я здесь докончу", — бросил пожилой черному. Черный, обрадовавшись, что избавился от писем, открыл узенький стенной шкаф. Там лежали Маринкины учебники, карты, коллекция камней и бабочек. Особенно заинтересовали черного камни. Он долго перебирал их, а несколько попробовал на зуб. Потом подозвал Маринку и спросил: "На каком языке книги на этой полке?" — "На французском. Я его в школе учу". Усмехнувшись, черный полистал книги и отложил три. К Маринке подошла мама. Открыв одну из них, она обратилась к черному: "Вы знаете, как она называется? — "Вишенка". Это же книжка для детей". — "Я вас не спрашиваю, гражданка, — прервал черный. — Эти три я забираю. Мы не хуже вашего понимаем, которые детские, а которые нет", — закончил он и передал книжечки солдату для серого мешка. "Мама, но ведь мне это для французского нужно", — заныла Маринка. "А вот мои дети никаких, между прочим, языков не учат. А вести себя умеют получше", — обернулся к ней черный.

Взяв Маринку за плечи, мама отвела ее к дивану. Не выдержав, девочка уткнулась в подушку и зарыдала. "Папа жив, Мариночка, жив, — утешала ее мать. — Он подходил к твоей кровати. Успел только поцеловать тебя в щеку". — "Как, как он мог уйти, не попрощавшись со мной?" — рыдала Маринка. — "Он не ушел, его увели, понимаешь". — "Ну вот что, — вмешался пожилой. — Я кончил здесь. Теперь проводите на балкон. Мне нужен длинный нож". "Вы хотите резать папины цветы?" — закричала Маринка. — "Нет, нет, девочка. Хочу проверить только одну вещь".

Цветы были отцовской гордостью. Все воскресенья и часто вечерами он возился на балконе, пересаживая их, прибывая

палочки, крася ящики. Балконный сад вызывал восхищение всего двора и мамино ворчание: "С тобой никогда невозможно слово сказать. Ты всегда пропадаешь на балконе". — Два дня назад отец вернулся с работы очень расстроенным. Когда Маринка помогала ему поливать цветы, он сказал: "Хорошее это дело. Конечно, нужно вложить много труда. Зато без обмана. Посадишь сам и вырастишь сам, а не какой-то дядя".

Пожилой методично тыкал длинным ножом в каждый сантиметр земли в цветочных ящиках. Все семейство смотрело на него остолбенело, не понимая происходящего. "Так что, не здесь золотишко держите?" — вдруг повернулся пожилой к маме. — "Золотишко?! — ошалела она. — Какое золотишко?"

"Да уж не знаю, какое. Вам виднее, Софья Зиновьевна. Ведь у вас брат в Париже, не у меня". "Боже мой! — не выдержала мама. — Вы не хуже меня знаете, что я после войны получила всего несколько писем. Была рада, что брату удалось бежать от немцев. Но вот уже год как прекратила переписку. Даже не знаю, жив ли он теперь". — "Зачем вы все это мне рассказываете? Это не мое дело. Меня интересуют только вещественные доказательства", — процедил пожилой. — "Так смотрите, сколько вы их обнаружили. Журнал "Америка", детские книжечки на французском, кухонный нож, часы и портсигар моего отца". — "Вы не беспокойтесь, мы забираем это на время. И расписку дадим. После следствия вернем". — "А когда кончится следствие? Где мой муж сейчас? Когда его можно будет повидать?" — "Опять вы с вопросами? Я дал вам адрес. Через десять дней все узнаете. И еще раз предупреждаю: не мешайте работать". Подталкивая маму и Маринку, пожилой вернулся в комнату.

Было уже половина десятого, но в комнате все еще горел свет. С настольных ламп были сняты абажуры. Освещение было таким пронзительно резким, что Маринка на минуту зажмурилась. "Доброе утро, Никанор Семенович, — внезапно услышала она. Из-за стола встал человек в военной форме и в очках. — Вот приехал помочь вам. С письмами разбираюсь. — Присаживайтесь, Софья Зиновьевна, — вежливо пригласил он маму к столу. — Интересные люди были ваши братья. Читать

их письма — одно удовольствие. Европейское образование, знаете, дело не шуточное".

Маринка увидела, что письма не валяются на полу, а разложены на столе аккуратными стопочками. "Устали вы, наверное, сегодня, — продолжал очкарик. — Ну ничего. Мы сейчас чаек организуем, а через час вы уж и отдохнуть сможете". — "Я не буду пить чай. Мне надо на работу. Если можете, кончите все это скорей". — "Конечно, конечно, — не обиделся тот. — У меня только несколько вопросиков".

Пожилый, увидев, что в комнате больше делать нечего, велел Вите и солдату сопровождать его "для осмотра" антресолей. Слова пожилого прозвучали так грозно, что Маринка уцепилась за брата и вышла с ним в коридор. Квартира вся давно уже встала. Но на работу никто не ушел. Все ходили на цыпочках и разговаривали полупрошепотом. Мимо Маринки прошмыгнули Наташа и Лидия Семеновна, не ответив на ее "здравствуйте".

Пожилый соорудил из кухонного стола и стула что-то наподобие лестницы и забрался на антресоли. Отдернув пыльную занавеску, он загромыхал тазами, лопатами, ночными горшками. "Черт подери, опять книги", — раздалось сверху. — "Это не наши, — успокоил его Витя. — Правда, Иван Степанович, эта стопка наверху ваша?" — обратился он к соседу, который направлялся с кипящим чайником к себе в комнату. "Какая? Где? Я что-то не припомню", — испуганно пробормотал тот и сразу исчез.

Иван Степанович Жилин занимал вместе со своей женой Лидией Семеновной и дочкой Наташей самую маленькую комнату в квартире. Это было тихое милое семейство. Лидия Семеновна, домашняя хозяйка, целый день что-то убирала в комнате и появлялась на кухне, когда Новичкова уходила на работу. Если та возвращалась домой неожиданно, то Лидия Семеновна судорожно отодвигала недоваренные суп и картошку и немедленно скрывалась в своей комнате. "Знаете, — говорила она Маринкиной маме, — сама понимаю, что веду себя глупо, но ничего не могу поделать. Мне кажется, что эта тигрица меня проглотит". Маринке всегда было жаль Лидию

Семеновну. Такая маленькая ручная беленькая мышка. Мышка успокаивалась только вечером, когда с работы приходили дочь и муж. При них она смелела и появлялась на кухне, чтобы подогреть обед. Ивана Степановича Маринка звала моржом и гордилась их дружбой. Моржик давал Маринке книги из своей библиотеки и даже разрешал самой рыться на полках. Иногда, по вечерам, на кухне она слушала рассказы о Толстом или Чайковском, двух столпах русской культуры, по мнению моржика. Когда появлялась на кухне мама, они начинали разговоры вполголоса о своих "двух приятельницах". Одну из них Маринка узнавала сразу. "Вы знаете последнее музыкальное открытие нашей Grande dame? — спрашивал Иван Степанович. — Вчера она мне объяснила, что решила продать рояль". "Нет смысла учить Борьку играть. Совершенно устаревший инструмент. Аккордеон — другое дело. В Германии теперь все играют "на аккордеонах". Все громко смеялись, зная, что Grande dame Новичкова отбыла в театр. О второй приятельнице, которую мама и Иван Степанович называли Софьей Васильевной, Маринка сначала не догадывалась. "Читали о новом постановлении Софьи Васильевны? — возмущалась мама. — Врачебная норма тридцать больных в день. Не знаю, кого больше жалко: врачей или больных?" — "А у нас на работе Софья Васильевна сегодня проводила беседу. Теперь-то я знаю, что электричество изобрел не Эдисон вовсе, а Яблочков, паровоз не Стефенсон, а Ползунов и тому подобное". Однажды сообразив, о чем идет речь, Маринка смутилась и спросила маму: "Софья Васильевна — это советская власть? Да?" — "Ну что ты, дурочка. Иван Степанович — человек с юмором, и мы просто шутим", — ответила мать. "Хорошо, что мама не видит человека с юмором сейчас", — решила Маринка, услышав, как в комнате Жилина щелкнул с внутренней стороны замок. Пожилый с тоской полистал книги. Дерьмо какое-то. Навигация, астрономия и другая чепуха". Он стал слезать сверху, таща за собой коричневый деревянный сундучок. "Его в комнате посмотрим, хватит здесь торчать. Убирай стол, Серега", — повернулся пожилой к солдату.

Тот, открыв рот, смотрел на Анну Васильевну, неожиданно

выплывшую из своей комнаты в атласном розовом халате до пят. "Товарищ начальник! Когда же на работу отпустите? За что ж честным людям страдать? Ведь у меня план: три платья в день скроить. Неужто пропадать тут из-за всяких?" Пожилой отряхнул запыленные брюки, выпрямился и произнес с усмешкой: "Ну нет. Вам никак нельзя пропадать. Такая женщина — и пропадать! Правда, Серега? Ну ладно, хватит глаза пялить", — похлопал он по плечу солдата и скрылся в дверях с сундучком.

В комнате очкарик протягивал маме какие-то бумажки. Она, просмотрев их, быстро подписывала. "Ну вот, опись конфискованного закончили, кажется", — приветствовал всех очкарик. — "Торопитесь вы что-то капитан. Не хотите ли в этом сундучке порыться?" Пожилой тяжело опустился на стул и придвинул сундучок к очкарику. Тот, по-прежнему улыбаясь, раскрыл его. Из сундучка выпали папина военная шинель, фуражка, ордена, фотографии. "Ордена надо взять, с шинели спороть погоны". К нему подбежал Витя. Схватил фуражку. "Видите дырку? Это от немецкой пули. Отец год после этого был в госпитале". "Пушай фуражка остается, зачем ее трогать?" — неожиданно услышала Маринка писклявый голос черного. "Так мы и не будем", — успокоил очкарик, ловко отвернув красную звездочку.

"Молчи, Витя, пожалуйста. Пускай они уходят", — бросила мама. Она все еще сидела за столом, подперев голову кулаками. "Да, подзадержались мы сегодня. Уходим, уходим", — чуть ли не пел очкарик, засовывая подписанные листы в портфель. Черный и солдат взяли по серому мешку. Пожилой подхватил пиджачок. "Счастливо оставаться", — бросил напоследок очкарик.

За ними хлопнула входная дверь. Витя потушил свет и повернул ключ в замке. Маринка принялась укладывать письма в коробку. Мама, не двигаясь, смотрела на них.

**третье издание,
исправленное и дополненное
литературных воспоминаний
АНДРЕЯ СЕДЫХ**

**ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ
(с иллюстрациями)**

**Воспоминания о Бунине, Шаляпине,
Алданове, Рахманинове, Бурцеве,
Ремизове, Глазунове, Кусевицком,
Шагале, Тэффи, Дон Аминадо,
Саше Черном и мн. др.**

**Цена 8 долларов с пересылкой.
Изд. Нового Русского Слова.
Заказы направлять по адресу:
Novoye Russkoye Slovo
243 West 56 St. N. Y. 10019.**



Илья БОКШТЕЙН

ШАТУН НАДЕЖДЫ

*Афанта-63 — поэма любви
(восемнадцать эссе)*

1

Вдвоем нести любовь нам тяжело,
Но одному мне тяжелее вдвое.
И почему мне так не повезло?
А может, сердце к жалости глухое.
А может, ум так ревностно глубок,
Что женщину к себе не подпускает.
А может, потому, что только Бог
Любовью совершенной обладает.

2

Скажу: приди, как песня.
Прошу: уйди, как сон.

ШАТУН НАДЕЖДЫ

89

Ты счастлива, зачем же я от ревности взбешен?
Желая быть с тобою
Растет любовь моя,
Переросла обоих
Соперника любя.

3

Вдруг неожиданно жутко
Друга движенье почувствовал я.
Дружбу разрушила шутка,
Смущенье неловко тая.
Глазами вспыхнув, глубокими стали,
Словно уходящая застенчивость твоя.

4

Элли!
Боже мой, я никогда еще
Такого страха не предвидел.
Не трус, но что ты сделала со мной.
Стыжусь молчать, слова возненавидев,
Обидеть неумеренной мольбой.
Сказать "люблю" и в слове обмануться,
Но почему я должен всей душой
Тебя желать и не коснуться?

5

Смех вдохновенью не нужен.
Символ улыбки — вопрос.
Смех утонул и покажется в луже
Счастье — сиянье Офелии кос.
Счастье — художник неважный
Музыку останови,
Цвета у музыки нет,
Почему же ты ангелом плачешь
В бесцветной любви?

6

Как задушить любовь, не умерев,
И ревность плачем погасить, не отсырев,
И самое загадочное, друг,
Доверчивость по-детски извивающихся
Иезуитских рук.

7

Изучать себя мне стыдно,
Изучать тебя мне больно.
Излучать тепло — обидно,
Если отражаешь холодно.

8

Ты поешь, словно станет небесным,
Что безвестно влечет и пугает.
Это песнь не моя, не узнаешь,
Это тает надежда рая.
Словно щель в забытьё возвращения,
Это свет потерпевшим крушеньё.
Это странник томится чужбиной,
Пилигримов рассветные спины.
Это тайна, что стала крылатой,
Новорожденный плач невозврата.

9

Вот нашел я и мечтаю
И приятно тебе рассказать.
Только собрался и тут же теряю,
Не пойму я, что такое
Убеждает меня помолчать.
Может быть, все это — сказки,
Как печально их так омрачать,

Может, достаточно сказочной ласки?
Объясни мне, в чем же дело?
Кто же просит меня подождать?

10

Как ты помотришь, совсем теряюсь я.
Какие строгие глаза твои.
Как будто вправду не замечаешь ты,
Не замечаешь ты моей любви.
Но как могу я с тобой наедине
Казаться вежливым, в себе страдать,
Ведь ты все знаешь, но не желаешь мне
Нет, не желаешь мне надежду дать.
Не мучь меня, хожу не свой, ничей,
Ночей не вижу я, не вижу звезд.
Одно я вижу, все понимаешь ты,
Все понимаешь ты, все, кроме слез.

11

Люблю тебя, едва заметное дыханье
Остановлю на самых хрупких ожиданьях.
Ты руки мне на плечи медленно положишь,
Я весь в огне, но в стороне, молчи!
Меня любить не можешь,
Я не прошу — немую, хрупкую надежду не разрушить,
Такт удержу - в слезах печальный танец слушаю.

12

Вошел ты и все необычно,
Как будто осмыслен мой путь,
Но ты, легкомыслием кличен
Часы пролистал с кем-нибудь.
Мне кажется самым счастливым,
Кто рядом с тобою, мой друг.

Вдали оголенные ивы
 Обведены лезвием вдруг.
 К тебе подойти я не смею,
 Но как на тебя не смотреть.
 Взгляну и от страха немею,
 Как будто вот-вот умереть.

13

Ты прости, что я тебя побеспокою.
 Я пошлю тебе летающий цветок.
 Ощуди его с такою теплотою,
 Будто между нами светлый Бог.
 Нет, он равным сделался по счастью
 Близости сияющей любви.
 Над рыданием не взаимной страсти
 Хищное сомненье отепли!

14

Я не взаимность полюбил,
 Другой тебя обворожил,
 Но ты всегда была достойна
 Обоих нас — обворожительно спокойна,
 Добродушна и одна.

15

Нежность так заманчиво лукава,
 Как заснеженный сияет подоконник,
 Почему так незаметно сторонись ты
 Родственных ладоней?

16

Легкой зорькой кажутся тревоги.
 Ты как летний вечер хороша.

На воде лучистые дороги
 С солнцем пляшут странные чертоги,
 Плавно солнце обнимая
 Плачет лед — шептаний шар.

17

Твои глаза так искренни, так ярки,
 В них удовольствие одухотворено.
 Двумя лучами радужные арки,
 Что обвели церковное окно.

Когда меня укроет сень
 Осенне-сумрачной каймою,
 Ты черный аностай надень,
 Открой Евангелие святое
 И со стены портретними
 И обведи овальной рамой,
 И занавеси подними,
 Чтоб свет упал на лик мой странный.
 И уголки губ оживил
 Искусно вызванной улыбкой.
 Живым лицом преобразил
 Я свет — в дороге отблеск зыбкий.

* * *

Клены-ксендзы
 Елями разрезаны в лесные вокзалы
 Памятью ошарены
 Шалями завешены
 Шапками закрашены
 Купола казались мне

Бубенцами к старине
 Шлемами сияли
 Кленалены
 С лосями разляпились
 В рогатопожары
 Стогами расставлены
 Русалками завешены
 Псевдоготики блины
 В терема заключены
 В занавески-плясуны
 С боярыней в пары
 И внезапно тревога охватит
 И мне страшно, что я еще жив
 Глубина безотчетно заплачет
 Мысли птицу тепла подарив
 Но о чем? — Боль в забвенье уплыла
 Прятки радости в лужах мечты
 Взлеты мысли тоска уносила
 В беспробудье пустой суеты
 В неестественность внешних событий
 Запихал ум слунативший рок
 В ухвертеле есть ли укрытье
 Где бы я осмотреться смог
 Подсчитать все ошибки и шоки
 Философствовать, стать выше дней
 Залететь так высоко, чтоб Боги
 Меня приняли в свой мавзолей
 Но помчалась встречать новость ночи
 Лес колесами слез осветив
 Жизнь — на встречное чудо короче
 В колесо ожиданий себя завинтив
 Шпалы дренькают ксилофонами
 Под катушками грузных валов
 На перронах магнитофона
 Шляпы кружат пластинки ветров
 Прощай Россия, прости, что сын я
 Чужих распутиц, чудных шагов

Пускай в цветениях Палестины
 Мне снятся лица твоих лесов
 Прощай Россия, не знаю, чей я
 И не хочу я об этом знать
 Летят листвою дни-сновиденья,
 Ждать, в суховеях цветы считать
 Судьба-редиска балетом риска
 О резко близком мне говорит
 В безьюнной жизни шлем обелиска
 Шатун надежды перстом крепит
 Под беретом березы узорчатых крыш
 Лапки кленов с лопатками лосей обвенчаны
 Мхом обуты, сосульками красок увешаны
 И по-детски весенне расцвечены
 Отпечатком влюбленно рассеянных губ,
 Что осеннему ветру, как речи завещаны.

Юрий ИОФЕ

ВНЕ РОССИИ

Внизу холмы да ямины,
Вверху литая синь.
Над Палестиной каменной
С утра стоит хамсин.
Да пыль свинцово-белая,
Да мутно-желтый свет,
Да пальмы обалделые,
Ублюдки мертвых лет.

Я сам судьбу испробовал,
Я сам от светлых рек
Ушел в пески багровые,
Ушел в багряный век.
И вот, в другом отечестве —
Как марево трясин —
Как испаренье вечности,
Как сон, стоит хамсин.

Беер-Шева (Израиль), 12.8.72

Из одноименной книги стихов

ТУМАН

Над автобанами туман.
С утра ревут сирены.
Тугой туман, тупой туман,
Вселенной по колено.

Он захлестнул, как океан,
В нем захлебнулся Запад.
Куда ни глянь — кругом туман,
Не расхлебаешь за год.

Я выхожу, туманом пьян,
Все как во сне тяжелом.
Ревет и стонет автобан,
Как лента с рок-н-ролом.

Попробуй, не сойди с ума
И разберись, попробуй.
Над всей Германией — туман.
Туман — над всей Европой.

Хофхайм, 1.4.76.

ВАЙЛЬМЮНСТЕР

Все мыкаемся, тычемся,
Туда-сюда-обратно.
А в городке готическом
Пустынно и опрятно.

От суеты и паники,
Повыдуманных кем-то,
Он спрятался, как маленький,
В глубинах континента.

И только в небе изредка
Над прочным миром прозы
Незримые, как призраки,
Взывают бомбовозы.

И, злую тайну спрятавши
И тешась надо всеми,
Часы на черной ратуше
Разбрызгивают время.

Вайльмюнстер, 6.5.76.

ВИД ИЗ ОКНА НА ЗАКАТЕ

Нынче не плачу, не пьянствую, —
Просто смотрю панораму.
Солнце уходит во Францию,
Валится в дымную яму.
Над черепичными крышами
Тускло-оранжево-рыжими
Блекло-бесцветное небо.
Ох, как не люблю, нелепо!

Точно предчувствием вечности
Нынче и впрямь обладаю.
Точно закат человечества
Я из окна наблюдаю.
Точно на дальней планете я,
Точно иные столетия
Где-то внизу колобродят,
В сумерках бредят и бродят.

Вечер, рекламно расфранченный.
Ветер из вечности дует.
Солнце уходит во Францию, —

Если она существует.
Город тяжелый, распаренный,
Пыжится банками, барами,
Город в камнях и железе
Где-то внизу куролесит.

Чудятся странные признаки
Дальнего темного века.
Что это: жители? Призраки?
Сгустки закатного света?
Нынче не плачу, не пьянствую,
Я по столетиям странствую
И сквозь оконную раму
Падаю в дымную яму...

Франкфурт-на-Майне, 24.2.77.

* * *

Устав от бесчинства и наглости,
От сволочи склочных квартир,
Искал по-мальчишески в атласе
Какой-то невиданный мир.

И пенилась радость бездомная,
А, может, не радость — тоска.
Кругом гомозила бездомная,
Кругом громоздилась Москва.

Взвывала соседняя фабрика,
Рыгала в пространстве густом.
А снилась мне Южная Африка
Под звездным алмазным крестом.

Теперь я живу за границую,
В чужие ворота стучу.

И старость, как тяжесть гранитную,
На мертвой спине волочу.

Мне много ли, мало отмерено?
Но годы пусты и тусклы.
И светит из атласа Мейера
Кровавая точка Москвы...

Какая кривая пародия!
И сам — безобразно кривой.
И снится мне снежная Родина
И фабрика с черной трубой.

Франкфурт-на-Майне, 28.5.77.

* * *

Вселенная желтого цвета.
Теснится этаж к этажу.
По скату 20-го века
Я в дикую бездну скольжу.
И славный прогресс пожиною,
В безумьи раззинув глаза.
И знаю, что зря нажимаю
На сорванные тормоза.
Я знаю, что все бесполезно,
От бреда совсем окосев.
Я знаю, что дымная бездна,
Зевая, распялила зев.
А там — ни конца, ни предела.
Там белого света — испод.
Возьми мое мертвое тело
И скверную душу, Господь!

Франкфурт-на-Майне, 7.6.77.

МАРСИАНИН

Холодный запах городской свободы.
Чужих небес разбавленная синь.
Сменяются, мелькая, дни и годы,
Как пфенниги на счетчике в такси.

Вне времени, в безмолвьи одиноком,
Смотрю на странный каменный ландшафт:
Как будто я — подбитый ненароком,
Забытый марсианский космонавт.

Смотрю в окно на улицы Европы,
Вдыхаю злой бензиновый сквозняк.
И всю необратимость катастрофы
Не смею, не умею осознать.

И в синем отсвете ночных сияний
Я чувствую рассудку вопреки,
Что я и впрямь — проклятый марсианин,
Единственный на все материки.

Франкфурт-на-Майне, 27.7.77.

* * *

Километры дороги, судьбы километры,
И закаты, как пятна сурьмы.
Над Нормандией стелятся сонные ветры
Атлантической сонной зимы.

Я иду по дороге, далекой, окольной,
Ко всему безучастен и глух.
И глядит на меня со своей колокольни
Недоверчивый галльский петух.

Провемон (Нормандия), 21.2.78.

ПАМЯТИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Черно-красные барки
 По Рейну ползут,
 Издавая проклятья,
 Испуская мазут.
 Черно-бурые замки
 Над Рейном стоят,
 В подземельях и башнях
 Преданья таят.
 И ревут бомбовозы,
 Поднебесье сверля,
 Изрыгая угрозы
 Над тобою, Земля.
 Зимний воздух над Рейном
 Словно серая слизь.
 Перепутались даты.
 Столетия сплелись.
 А норд-ост, свирепея,
 Все куда-то зовет.
 И глядит Лорелея
 на атомный завод.

Бонн, 5.1.79.

* * *

Зеленая заря над пустырем.
 И ни ответа, ни привета.
 И тишина, тяжелая, как гром.
 Какая странная планета!

Вдали мерцают синие огни.
 И так тревожно пахнет трупом.
 А где они? И кто они — "они"?
 Ползут, должно быть, по уступам.

Не ведаю, как оказался здесь.
 И где теперь моя ракета?
 Вдали заря, зеленая, как плеснь.
 Какая страшная планета!

Они идут. Они за мной идут!
 Неужто в самом деле — черти?
 И вовсе это не планета тут,
 А — вечный ад, обитель смерти.

Франкфурт-на-Майне, 15.2.79.



Далия РАВИКОВИЧ

ТЫ НАВЕРНОЕ ПОМНИШЬ

Когда все уходят,
я остаюсь одна, я и стихи.
Некоторые из них это мои стихи,
а некоторые из них — стихи других.
Стихи сочиненные другими я люблю больше.
Я остаюсь в тишине
и сдавленное горло освобождается.
Я остаюсь.
Иногда я хочу, чтобы все ушли.
Писать стихи это может быть приятная вещь.
Ты сидишь в комнате и вот стены становятся выше.
И цвета становятся резче.
Светлосиний платок превращен в глубину колодца.
Ты хочешь чтобы все ушли.
Ты не знаешь что с тобой.
Может быть ты подумаешь о двух вещах, или больше.
После этого все пройдет и кристалл станет чистым.
И тогда любовь.

ТЫ НАВЕРНОЕ ПОМНИШЬ

Нарцисс так сильно любил себя самого.
Глупец кто не понимает что он любил также и самый родник.
Ты остаешься в одиночестве.
Твое сердце болит но оно не будет разбито.
Постепенно отходят блеклые образы.
Постепенно пройдут следы повреждений.
После этого солнце появится в полночь.
И цветы темных соцветий ты помнишь.
Ты хотел бы быть мертвым или живым или кем-то другим.
Может быть есть одна страна которую любишь ты.
Может быть есть одно слово.
Ты наверное помнишь.
Глупец кто позволяет чтобы солнце заходило где ему
вздумается.
Оно ведь всегда заранее забредает на запад к островам.
К тебе придут и солнце и луна, лето и зима.
Сокровища которым нет конца.

*Перевел с иврита Савелий Гринберг
декабрь 1978 г.*



Агарон ШАБТАЙ

ДОМАШНЯЯ ПОЭМА

отрывок

Внутри
простого яблока
голубеет огонь

Внутри волокна
внутри вервья
обитает огонь

В спине муравья
переступают блики

Светлобелая тарелка
В скривище ее
огонь

Огонь
в полете птицы
и в соотносимости органов тела

ДОМАШНЯЯ ПОЭМА

Предназначение стены
Огонь
в глазах

В яйце огонь
Гибкая ветка
будет обуглена...

...Поле
это простыня
вновь возникающий феникс

Сандалия — это
колодка
морали

В табуретке
сокрыт огонь
и в кулаке
пряного перца

Приходит лето
сезон
"сухой души"

Сезон сезонов
Сезон
измерительной линейки

Сезон
нормативный
когда
мука на руках

Влюбленные сгорают
на костре —
тот что разожжен для Патрокла

Порог дома
раскаленнобелый
из-под снега

В рукояти серпа
В упряжи кожаной
жизнь наша
оставлена нами

Давайте будем любить
Это
залог
одиночества...

...и повторно гром
и образующаяся на месте
маленькая лужа

листья сухие,
пресмыкающиеся
и земля
подобная небу

ноги и корень,
ткань
загрязненная мудрая

и из рыдания
глубокого
камертон и язык колокола

и волосы в слезах
и запах у них
мирта и лимона

и волосы покровом сердца
и любимых висков

и рука
прекрасная, обнаженная,
(умывающая)
юная рука

Целая тонна
травы
позабытой
потому что стала мной

*Перевел с иврита Савелий Гринберг
январь 1979 г.*

**В НЬЮ-ЙОРКЕ ВЫШЕЛ В СВЕТ РЕЛИГИОЗНО-
ФИЛОСОФСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ НА РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

Г Н О З И С 3 - 4

СОДЕРЖАНИЕ: *Аркадий Ровнер.* Принципы и приложения. — *Томас Берри.* Религиозные формы будущего. — *Леонид Чертков.* Между Гофманом и Герценом — Василий Кельсиев. — *Виктория Андреева.* О прекрасной сложности. — *М.Е. Архангельский.* Малевич, действительность и культура. — *Даниил Андреев.* Затомисы. — *Анри Волохонский.* Двенадцать ступеней натурального строя. — *Евгений Вертлиб.* О природе символа у Андрея Белого и Вячеслава Иванова.

ПРОЗА И СТИХИ: *Василий Яновский.* Доклад Свифтсона. *Петр Булжников.* Стихи с параллельными переводами на английский Ричарда Маккена.

Цена двойного номера 6 долл. Адрес журнала: Gnosis, Box 86.
527 Riverside Drive, New York, NY 10027, USA.

Представитель во Франции: Leonid Tchertkov, Section de langues slaves,
Universite de Toulouse - le Mirail, 109 bis, rue Vanquelin. 31081 Toulouse
Cedex, France.

Представитель в Израиле: Valery Dunaevsky, Zehon Ezel 8/14, Givat
Tsorfatit, Jerusalem, Israel.



ПУБЛИЦИСТИКА

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ МИР: РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ

В сентябре 1977 года президент Египта сделал беспрецедентный шаг. Своим визитом в Иерусалим он пробил брешь в стене арабо-израильской вражды. Естественно, визит Садата пробудил радость и надежду в сердцах израильтян.

Выдержав за тридцать лет четыре кровопролитные войны (не говоря уже о непрекращающемся терроре), они впервые увидели не мир мечты и мессианской надежды, а мир реальный, несущий принципиальные перемены в их жизнь.

С тех пор прошло полтора года, преисполненных бесконечных переговоров, политических перипетий и кризисов. И когда наступил долгожданный час подписания договора, обнаружилось, что вожденный мир не только потускнел, но и утратил что-то чрезвычайно важное, не поддающееся объяснению. Иначе говоря, пришел мир без радости, мир двусмысленный и вымученный, мир, хромящийся на обе ноги. Вместо того, чтобы вызвать доверие у других народов Ближнего Востока, израильско-египетское соглашение само оказалось под давлением многочисленных сил "отказа", стремя-

щихся увековечить арабско-израильский конфликт. Такова реальная ситуация к моменту подписания соглашения о мире.

Нет смысла заниматься выяснением того, кто виноват в этом ущербном развитии. Вероятно, обе стороны несут ответственность за эрозию мирного процесса, за размен идеи мира на мелкую монету параграфов и подпараграфов, лишенных порой живого смысла. В то же время, может быть, это — единственная форма мира, которая оказалась возможной в этот момент, исходный момент прорыва враждебного кольца, окружающего Израиль.

Так или иначе, израильско-египетский мир стал осязаемой реальностью в тот момент, когда обе враждующие стороны оказались заинтересованными в нем. Этот мир никак не продукт пацифизма, но продукт равновесия сил: арабы не в состоянии сбросить Израиль в море, а Израиль не способен навязать арабским странам израильскую модель урегулирования.

До тех пор, пока арабы тешили себя надеждой, что им удастся сокрушить еврейское государство силой, мир был невозможен, как он не был возможен, пока Израиль надеялся на свое военное превосходство при решении проблем Ближнего Востока.

Этим же равновесием сил объясняется длительный, застойный характер конфликта, начиная с 1967 года. И все же эта перманентная конфликтная ситуация исподволь подвела к осознанию бессмысленности борьбы, по крайней мере, в этом поколении.

Нет ничего удивительного, что это осознание пробило себе дорогу раньше всего в крупнейшем арабском государстве, сорокамиллионном Египте, для которого войны с Израилем оказались фактором, сдерживающим его развитие. Однако очень быстро обнаружилось, что арабский мир в целом не готов к миру с Израилем. С большим трудом и необычайно медленно народы освобождаются от своих иллюзий. Это в равной мере относится и к арабам, и к Израилю, который хочет удержать плоды победы в Шестидневной войне, хотя это оказывается ему не по силам.

В создавшейся ситуации и заключена глубокая причина того, что египетско-израильское соглашение оказалось неспособным разрешить палестинскую проблему. Оказавшись не полным миром, а только частичным, этот мир, однако, как и частичный, встретит на своем пути серьезные испытания. Справедлив и естествен вопрос: что это за испытания? Иначе говоря: каковы перспективы мира?

Первым делом вспомним, что очень скоро после подписания соглашения должны начаться переговоры о палестинской автономии, то есть о будущем Иудеи, Самарии и сектора Газы. Можно заранее представить, что эти переговоры будут чрезвычайно сложными и трудными, ибо здесь столкнутся две противостоящих друг другу концепции. С одной стороны, концепция главы израильского правительства Менахема Бегина и его партии, согласно которой эти территории являются интегральной частью Израиля, с другой стороны, — концепция арабского мира, включая Египет, требующая для палестинцев права национального самоопределения, вплоть до создания своего государства.

Проблема осложняется еще двумя обстоятельствами. Во-первых, палестинская организация национального освобождения ведет террористическую войну против Израиля, и ее политическая программа предполагает уничтожение еврейского государства. Во-вторых, в течение всего времени после Шестидневной войны идет еврейское заселение этих контролируемых территорий. Их будущее и будущее Иерусалима, входящего в состав еврейского государства, тревожит даже те круги израильского общества, которые, в отличие от позиции главы правительства, не хотят присоединения густозаселенных арабских территорий к Израилю.

Ко всему этому следует присовокупить проблему национальной безопасности Израиля, остро волнующую всех его граждан, ибо непосредственное соседство враждебного палестинского государства не может не затрагивать безопасности страны. Поэтому сохранение военных позиций Израиля на реке Иордан кажется правомерным и тем политическим течением, которые отвергают присоединение арабских территорий.

Итак, все возвращается на круги своя. Еврейско-арабский конфликт, вылившийся в кровавые беспорядки уже в начале двадцатых годов и переросший затем в конфликт всего арабского мира с Израилем, возвращается к своему исходному пункту.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА

Равновесие сил, основанное на более или менее равном потенциале обоих враждующих лагерей — израильское культурное, научное и технологическое превосходство, плюс моральный фактор народа, сражающегося за свое существование, и, с другой стороны, территориальное, демографическое и экономическое (нефть!) превосходство арабов — дополняется равновесием глобальным.

Две мировые сверхдержавы, держащие в своих руках ключ к миру во всем мире, противостоят во всеоружии друг другу в районе Ближнего Востока, зная, что на этом стыке трех материков решаются и судьбы Европы, и зная также, что слишком далеко зашедшее противоборство сил Израиля и арабского мира ставит в опасность мировую политику сосуществования.

В 1973 году во время войны Судного дня Киссинджер вынудил Израиль выпустить из своих рук "военную добычу" — освободить окруженную египетскую армию, дабы отвести советскую угрозу.

Нет сомнения в том, что одним из факторов, сделавших возможным нынешнее израильско-египетское соглашение, явилась антисоветская ориентация современного Египта. Точно так же, как одним из серьезных поражений, которое потерпел Советский Союз на Ближнем Востоке, явилось "выпадение" Египта из сферы советского влияния. Это произошло по двум причинам. Во-первых, советское вмешательство во внутренние дела Египта превзошло всякую меру (поддержка Али Сабри), и, во-вторых (и это самое важное), Египет нуждался в Советском Союзе для ведения войны с Израилем,

но для мира, для своего экономического восстановления он нуждается в Америке. Советизация Египта провалилась. Советам не осталось ничего другого, как попытаться привязать к своей колеснице другие арабские государства и палестинских террористов. Но все это, разумеется, не может возместить потери влияния в сорокамиллионном Египте.

Теперь это поражение усугубляется израильско-египетским соглашением под эгидой Америки. Мир между Израилем и Египтом является а м е р и к а н с к и м м и р о м . Рах амегисапа. Без активного вмешательства Америки, без американского давления, без массивной помощи Соединенных Штатов — мир был бы невозможен. После происшедшей революции в Иране Америка потеряла контроль над его нефтяными ресурсами и лихорадочно ищет новую стратегическую опору. Поэтому консолидация на Ближнем Востоке стран Западной ориентации стала насущной, жизненно важной политической задачей Соединенных Штатов. Израильско-египетское соглашение должно послужить краеугольным камнем этой консолидации. И тут произошел неизбежный "сдвиг" американской ориентации в сторону Египта, что, конечно, ставит Израиль в тяжелое положение, и это уже отражается на поставках оружия обеим сторонам. В сущности, Израиль оказался между двух огней — советской враждебностью и американской "сдержанностью". И не должно быть сомнений в том, что это скажется в будущем, несмотря на обильную американскую помощь, пока еще получаемую Израилем.

Более того: похоже, что все происходящее на арене Ближнего Востока в масштабе мировой политики это не что иное, как сколачивание а м е р и к а н о - е г и п е т с к о г о б л о к а , по отношению к которому израильско-египетское соглашение является только функцией. Это, конечно, несколько не умаляет значения израильско-арабского урегулирования, начало которого сейчас заложено. Но непреложным фактом является то, что соглашение между Египтом и Израилем изменяет стратегический баланс сил на Ближнем Востоке. Это и есть то, чего добивается Америка. И если этот мир окажется жизнеспособным, то Советскому Союзу придется серь-

езно задуматься над вопросом: может ли и в дальнейшем вражда к Израилю служить краеугольным камнем его политики на Ближнем Востоке.

ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ

Египет получает чрезвычайно большие выгоды от мира с Израилем: потерянные территории, нефть, и все — без единого выстрела. Однако Садат ни в коем случае не может отказаться от своих связей с арабским миром, а значит, и от своих связей с палестинскими арабами.

Программа автономии явилась тем связующим звеном, тем компромиссом, который дал возможность обеим сторонам — и Израилю и Египту — перебросить мост между двумя противоположными позициями. Нет недостатка в критике этой программы, но она содержит одно рациональное зерно, из которого, возможно, и произрастет будущий мир между народами. Этим зерном является пятилетний п е р е х о д - н ы й п е р и о д , предусмотренный планом автономии.

В течение этих пяти лет совместными усилиями можно создать базу для удовлетворения жизненных, национальных интересов израильского и палестинского народов. Нет безвыходных положений и нет неразрешимых конфликтов. Можно нейтрализовать крайние националистические элементы в обоих лагерях и обеспечить мирное сосуществование.

Для этого нужно повернуться лицом к действительности и освободиться от власти иллюзий. Оба народа имеют безусловное право на свое национальное самоопределение и национальную безопасность. Оба народа должны согласиться, что всякое покушение на это право должно быть квалифицировано, как "запретное оружие", раз и навсегда. Если действовать в этом духе, можно добиться и национального самоопределения палестинских арабов и обеспечения национальной безопасности Израиля. Путь к этому — временное сохранение его оборонных позиций, установление демилитаризованных зон, а, может быть, и частичное изменение границ.

Но есть вещи почти абсурдные, которые провозглашаются едва ли не как официальная доктрина Израиля. Таким абсурдом выглядит программа автономии, но только не для территории, а для жителей Иудеи, Самарии и Газы, будто эти люди живут не на земле, а на небе, и потому не нуждаются в территориальной автономии.

Трудно совместимыми вещами являются автономия, с одной стороны, и продолжение еврейского заселения земель, расположенных в рамках этой автономии. Если народ, получивший автономию, не может распоряжаться своей землей, то что же дает ему эта автономия? Здесь придется делать выбор — либо автономия, либо заселение, и вопрос заключается в том, окажется ли способным нынешнее правительство сделать такой выбор. Поэтому совсем не исключено, что уже в недалеком будущем Израилю предстоит перенести ряд политических потрясений, включая и правительственные кризисы.

К сожалению, и в арабском мире (помимо Египта), и в среде палестинцев (как, впрочем, и в среде израильтян, хоть и в меньшей мере) имеют место до сих пор хождение доктрины и мифы о национальной исключительности.

Парадоксальным образом сложился и действует сегодня на Ближнем Востоке единый, хоть и противоречивый фронт откaza против израильско-египетского мира, включающий Советский Союз, арабские страны, палестинские организации и израильские националистические элементы. Это достаточно широкая коалиция, и для того, чтобы ее победить, необходима дальновидная политика, основанная на реальном признании реальных прав палестинских арабов.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Попробуем теперь сделать некоторые прогнозы, вытекающие из анализа создавшейся ситуации.

Первый из них касается внутренних перспектив Израиля. Нет надобности верить в провиденциальный характер истории, чтобы прийти к заключению, что нынешний глава правитель-

ства сослужил хорошую службу Израилю. Никто иной из ведущих лидеров государства не мог бы без внутренних потрясений добиться от народа Израиля согласия на полное отступление из Синая (включая еврейские поселения) и на признание "законных прав" палестинского народа, как это сделал Бегин. Поистине ирония истории: задачу "смазывания удочки" она возложила на безупречного рыцаря бело-голубой мечты о целостном Эрец Исраэль.

Однако теперь наступает критический момент — момент, когда должны решиться судьбы Западного побережья Иордана и Газы. Окажется ли Бегин способным и дальше выполнять свою роль, выполнять "заказ" истории? Это трудно предвидеть. Но есть все основания полагать, что правительственные партии вынуждены будут на этой второй стадии переговоров дойти до "последней черты": либо поступиться своей программой, предполагающей увековеченье израильской власти над контролируемыми территориями, либо поставить под опасность израильско-египетский мир. Дамоклов меч висит над правительством Бегина. Это будет тяжкая дилемма, и из нее, по-видимому, не окажется другого выхода — либо обвал мира, либо уход правительства.

Конечно, будет длительная пауза между мирным соглашением с Египтом и возможным решением палестинской проблемы. Поэтому предполагаемое нами развитие событий, возможно, должно быть отнесено к не столь уж близкому будущему. В этом духе надо рассматривать и другой прогноз, касающийся внешнеполитической арены. В Кемп-Дэвидском соглашении установлены рамки и предпосылки для разрешения израильско-арабского конфликта в целом: признаны законные права палестинцев и обусловлен пятилетний переходный период, по истечении которого проблема должна найти свое решение. Трудно предвидеть будущее развитие, но одно можно сказать с большей или меньшей уверенностью — достигнутое соглашение либо будет расширено до всеобщего мира между Израилем и арабскими странами, либо его не будет вовсе.

Однако если мирный процесс распространяется и на арабские страны, и на палестинцев, то из этого следует неизбежный вывод: вторая мировая держава. Советский Союз, должен быть включен в его орбиту. Отсюда напрашивается третий прогноз. Для того, чтобы стать универсальным, мир между Израилем и Египтом должен стать миром под эгидой двух мировых держав. Иначе говоря, детант должен распространяться и на Ближний Восток.

В связи с этим не может остаться в стороне проблема израильско-советских отношений. Пережив свой медовый месяц во время Освободительной войны Израиля, эти отношения уже в начале пятидесятых годов были заморожены, а в 1967 году прерваны окончательно. И здесь, вероятно, будет уместным привести рассказ, проливающий свет на историю этих отношений. "1958 год, — пишет биограф Бен-Гуриона (М. Бар-Зохер), — был великим годом в его политической биографии. Его тревожил главный вопрос, ответ на который ему не был ясен, — чего хочет Советский Союз? Уничтожить Израиль, подорвать его существование? Туманность советской позиции выражалась в отсутствии ответа на письмо, направленное в адрес советского посланника Бодрова весной 1958 года, в котором он (Бен-Гурион) предлагал сотрудничество и дружбу между Россией и Израилем. Вновь и вновь он спрашивал посланника, есть ли у него ответ для него. Опять и опять Бодров, улыбаясь полной теплотой и дружбы улыбкой, отвечал: еще нет. В середине 1960 года, через два года после того, как старик (Бен-Гурион) передал свое послание, Бодров все еще разводил руками и улыбался. И оба они были похожи на двух давнишних друзей, обменивающихся согласованным девизом или интимной шуткой, исход которой был известен обоим. Вопрос задавался без надежды, в ироническом тоне, а ответ превратился в шаблон, изображавший горькую и безнадежную действительность".

Разрыв отношений был тяжелой тактической ошибкой со стороны Советского Союза. Этот разрыв лишил Советские способности маневрировать в отношениях Израиля с арабами, и это также дает основание полагать, что если израильско-

египетское соглашение выдержит испытание временем, Советский Союз вынужден будет искать возобновления отношений с Израилем.

Пока что Советский Союз, совместно с арабским фронтом "отказа", будет пытаться опрокинуть израильско-египетский мир. Дойдет ли дело до войны, способной поставить Египет перед выбором? Вряд ли. Во-первых, из-за относительной слабости арабского военного потенциала, лишенного поддержки Египта, и, во-вторых, из-за того, что Советские вряд ли решатся поставить под угрозу детант. Можно, следовательно, думать, что центр тяжести советских усилий будет перенесен в область подрывной политической деятельности.

В этих условиях Израиль, возможно, мог бы пустить в ход свое весьма эффективное оружие — призыв к мирному сосуществованию на основе отказа от территориальных притязаний с одной стороны и отказа от угроз национальному существованию, с другой стороны — призыв к миру на основе готовности установить контакты со всеми политическими факторами, признающими Израиль. Не территории нужны Израилю, а обеспечение его национальной безопасности.

Сионизм означает национальное освобождение, а не господство над другим народом. Однако будет правильным заметить: пока что такого поворота в израильской политике не предвидится. Такого прогноза мы, к сожалению, поставить не можем.

Заключение израильско-египетского соглашения о мире представляет собой поворотный пункт в судьбах Израиля, можно надеяться, и в судьбах Ближнего Востока.

Свыше тридцати лет еврейский народ жил, как в осажденной крепости, "уцепившись зубами" за свой узкий клочок земли, но он отстоял свое существование, свою свободу, свое будущее. Если не бояться высокопарных слов, можно сказать, что сегодняшний мир — второе рождение Израиля. После стольких лет одиночества и изоляции наступает день, когда страна включается в геополитический комплекс арабского Востока. Но это и есть начало новой эры, будущее которой таит столько надежд и опасностей.



Дора ШТУРМАН

НИКОЛАЙ БУХАРИН - ЛЮБИМЕЦ ПАРТИИ

БУХАРИН И СТАЛИН

...Если бы кто-то рискнул развернуть убийственные и самоубийственные стихи Осипа Мандельштама о Сталине в эпос, он не нашел бы для этого лучшего материала, чем XVI съезд РКП (б) во всем его мистическом и будничном ужасе. На этом съезде партия кончала с Бухариным. Потом он уже доживал, шел к страшной развязке, а не жил, хотя был еще молод и полон сил. Можно было бы сказать об этом зловещем сборище словами Высоцкого: "Билась нечисть груди в груди и друг друга извела", если бы нечистью, обрушившейся на еретиков, не управлял расчетливейший дирижер, добившийся от нее всего, чего хотел добиться.

Еще до съезда развернулся сценарий, финалом которого стал съезд. Держа Бухарина на длинном ремне, Сталин использует его против Зиновьева, Каменева и Троцкого, терпя даже "Заметки экономиста" какое-то время без возражений. Затем он вступает в косвенную полемику с группой Бухарина, избирая в качестве объекта нападок бухаринцев, но не Бухарина, которого (надо отдать справедливость и "мужикобор-

цу") всячески пытается отрезвить, предостеречь и одернуть. Но Бухарин несет по избранной им дороге, закусив удила, предприняв в качестве предосторожности лишь одну меру, весьма наивную: он тоже критикует не Сталина, а уже поверженных его противников, которым приписывает мысли Сталина. В конце концов, Сталин то ли теряет терпение и надежду остановить Бухарина, то ли решает, что достаточно утвердился, и, перемежая демагогию и клевету с кинжальными вспышками своекорыстной самосохранительной зоркости, опускает свой свинцовый кулак на Бухарина.

С точки зрения диктаторских интересов партии, бесспорно был прав Сталин, а не Бухарин. Крестьяне уже выбирают "лишенцев" в советы; они выдвигают четкое требование снятия монополии внешней торговли; держатели хлеба уже срывают хлебозаготовительную политику партии в пользу независимого от нее рынка — такими свидетельствами пестрят документы эпохи, в частности — стенограмма XVI съезда РКП (б). Крестьянство уже будет трудно сломить — после нескольких лет бухаринской тактики это стало бы невозможным. У Бухарина путаница в голове: он пытается слить воедино взаимоисключающие начала — партийную логику и народные интересы.

Когда-то в своих речах и писаниях он связывал несоединимое легко, ловко и гладко, потому что всего лишь играл словами, плел словесные сети, твердо зная, что следует говорить, а что — делать. Теперь эта задача для него непосильна, ибо он хочет связать не слова, камуфлирующие действительность, а дела, процессы и интересы, которые нельзя совместить. У Сталина в голове холодная и бесчеловечная ясность. Он знает, что ему следует делать. Его не беспокоят никакие сомнения и не изводят никакие эмоции. На его стороне гигантская тяга партии к власти и привилегиям, а также страх партии перед расплатой за уже совершенное против народа.

Бухарин тщится загипнотизировать Сталина Лениным, но Сталину наплевать (как было в свое время и Ленину) на любые ссылки и первоисточники. Ссылки на Ленина могут

что-то значить для партийной публики второго и более низких рангов. Для посвященных же они только тактическое оружие. Сталин прав и по существу своего понимания Ленина! Бухарин поверхностно трактует и избирательно представляет слушателям ленинское отношение к НЭПу и свободе торговли. Сталин прав, утверждая, что Ленин вводил НЭП временно, для укрепления, точнее — спасения "диктатуры пролетариата" (партии). Он прав и в том, что настал момент отступление прекратить и начать наступать — в простом военно-физическом смысле слова. Теперь это можно сделать без риска рухнуть, и Ленин, такой, каким он был, вводя НЭП, этого момента не упустил бы. Исторически этот момент не менее значителен для судьбы партии, чем канун октябрьского переворота. Сталину ли дрогнуть перед цитатами, которыми и он манипулирует достаточно ловко, и перед Бухариным с его ребяческим лепетом об экономической целесообразности? Диктатура партократии и экономическая целесообразность взаимно исключают друг друга. Документы свидетельствуют, что Бухарин, действительно, пытается сплотить против линии Сталина недавно разгромленных им и Сталиным лидеров оппозиций. Но Сталин таков, что для его одоления надо было действовать не против линии, а против Сталина. Победить его можно было только физически. Так действовать обиженные не хотели или не умели. Когда же программу Бухарина поднимали на щит силы, действительно, антипартийные, Бухарина это ужасало, заставляло отшатываться и оправдываться. На XVI съезде цитируется Множество свидетельств такой поддержки, и ни от чего так настойчиво не отказываются бухаринцы, выступающие на съезде, как от этой помощи извне партии.

Стенограмма XVI съезда представляет собой пухлый том многословных речей и резолюций, реплик и выкриков, но она полностью укладывается в одну строфу рокового стихотворения Мандельштама: "А вокруг него сброд толстокожих* вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет — он один зуботычины тычет"...

*В другом варианте "тонкошеих".

Свистят и неистовствуют не только уцелевшие в 1930-53 годах счастливыцы, но и Киров, и Орджоникидзе, и Постышев, и Хатаевич, и... — словом, все те, кого будущий сценарист мог бы изобразить тут же, после окончания последней фразы, пускающим пулю в собственный лоб. Или получающим ее в затылок из рук, которые здесь так беззастенчиво лижет. Размеры журнальной публикации не позволяют нам предложить читателю сценарий съезда, на котором "полулюди" окончательно выбрали свою судьбу. Но вот коротенькие иллюстрации к сказанному.

Вот боготворимый ныне "коммунистами-антисталинистами" (бессмысленное самоопределение), убитый позднее Сталиным Постышев:

...правые уклонисты совершают вылазки против генеральной линии нашей партии и против т. Сталина... некоторые группы правых пвно перерождаются в контрреволюционные организации с реставрационными программами и даже с заговорщическими планами.

Так обстоит дело с прямой кулацкой агентурой внутри нашей партии, какой является правый уклон *

Слышите свист? Сходным образом выражаются и Рудзутак, и Коссиор, и Киров...

А вот бормочет в растерянности загнанная в угол и прижатая репликами зала к стене Крупская:

Затем по всей линии, по фронту работы в деревне, начиная с хлебазаготовок, — трудно перечислить... (Голос: "Скажите о Бухарине, о выступлении Рыкова и Томского".)

Из того, что я говорила о правом уклоне, вытекает и моя точка зрения на выступление Томского и выступление Рыкова. (Голоса: "Что из этого вытекает?" "Скажите точнее, яснее", "Не ясно", "Крайне недостаточно".)**

А это уже хныканье, что называется, под хлыстом и свистом:

У г л а н о в . Товарищи, само собой понятно, после двух лет довольно большой борьбы, которую я вел, находясь в рядах правой оппозиции, против линии партии, против руководства партии, само собой

*Стенограмма XVI съезда РКП (б). М., Госполитиздат, 1930; стр. 109.

**Там же, стр. 213-214.

понятно, трудно рассчитывать на то, чтобы мне на настоящем съезде поверили на словесные заявления... (голоса из зала: "Это верно!") ...поверили в то, что я заявляю, в чем я ошибался, какие были у меня ошибки, и что я впредь подчиняюсь решениям партии и безоговорочно их буду защищать.

Голоса из зала. Правильно! (Движение в зале.)

Угланов. Я думаю, что мы это в дальнейшей работе постараемся сделать.

Голоса. Кто — мы? Думаете? (Шум. Волнение в зале.) ...

Угланов. Сейчас, по прошествии двух лет — а фактически сейчас, примерно, два года с того срока, когда мы начали расходиться с основной линией партии, которую она начала осуществлять после XV съезда, — я совершенно отчетливо вижу всю, так сказать, позицию, которую мы занимали и которую с большевистской точки зрения...

Голоса. Скорей, скорей.

Угланов. ...пожалуй, можно назвать хвостистой позицией.

Голоса. Мало этого, мало.

Голоса. Слабо. Не хвостистская, а правооппортунистическая.

Угланов. Подождите, товарищи.

Голоса. А с классовой точки зрения? (Шум.)...

Угланов. ...Признаю совершенно откровенно, что не так, как нужно, не так, как я в течение 23 лет, примерно, пребывания в партии выполнял свои обязанности перед партией, я работал за этот промежуток времени. Я признаю, что из всего 23-летнего пребывания в партии я за последнюю пару лет плохо работал...

Голос. А против партии?

Голос. Отвливаешь? (Голос: "А по существу ничего не сказал!")

Голос. А через месяц что будет?

Голос. А завтра как будет?

Угланов. ...результатом чего и явился разговор с отдельными товарищами, где в этих разговорах я сомневался, правильно ли мы идем, и т.д.

Голос. А зачем вел борьбу?

Угланов. Никакой, товарищи, борьбы я не веду и впредь не собираюсь. И заявляю, что все те обязательства, которые выпадают на большевика, будут выполняться честно и добросовестно.

Голос. А почему фракционной работой занимаешься?

Угланов. Товарищи, я прямо скажу. В промежуток времени, в период 1928/29 г., вы прекрасно знаете, никакой особой фракционной работы, как это делали другие оппозиции, мы не организовывали.

Голос. Что это значит особой? А не особой? (Шум.)

Угланов. Вы сами видите... Никакой организованной... фракции я не организовывал и не собирался организовывать.

Петерс. А просто не вышло.

Голос. Не удалось?!

Угланов. ...я честно и добросовестно признаю, и потому впредь я приму все меры, чтобы их не допускать...

Голос. А раньше?

Голос. Мало!

Голос. Надо было бороться против этого.

Голос. А Промакадемия?

Угланов... буду не только не допускать, но буду бороться против этого. (Смех и шум.)

Калыгина. Только на пленумах и съездах!

Голос. А как вы сегодня колеблетесь, Угланов?

Угланов. Сегодня я не колеблюсь, а если бы колебался, то я бы — одно из двух — наверное не вылез на эту трибуну, или я бы сказал что-нибудь другое.

Голос. А что бы ты делал?

Голос. Говоришь не твердо!

Голос. Говори определенно.

Голос. Не убедительно.

Голос. Говоришь не серьезно.

Калыгина. У вас каждую минуту настроения меняются*.

Это не имитация — это дословная стенограмма. Прошу прощения за столь обширное цитирование легально изданной в СССР стенограммы, но ведь мы с вами этих драматических материалов, как правило, не читаем. И фильмов по ним не ставим.

Лишь голос Томского прозвучал на этом шабаше по-человечески; да еще, с известными оговорками, голос Рыкова. На съезде раздавалось множество панических, истерически злобных свидетельств о том, что мысли Бухарина были услышаны и поняты достаточно широко — шире, чем он хотел. Поэтому съезд требует от еретиков не покаяния, которое Рыков и Томский произносят весьма уклончиво, ни одним словом не задевая и не обвиняя Бухарина (а от них требуют в первую очередь этого).

Беснующаяся от страха и гнева мафия требует от "уклонистов" самоуничтожения. Она добивается от обвиняемых стилистики предстоящих и им и ей процессов тридцатых годов. Она жаждет от кающихся мазохистского

*Там же, стр. 130-132.

самооплевывания и самоуничужения. Добившись этого от слабохарактерного Угланова, она звереет. Не добившись от Томского и от Рыкова, звереет еще больше. Почему? Потому что аудитория съезда додумывает программу Бухарина прямее, чем он сам. А вопрос власти для нее — это уже не только вопрос власти как таковой, но и вопрос расплаты за совершенное и совершаемое. Опасность, исходящая от Сталина, еще не так явственна, как эта опасность.

То, что абсурды и злодейства, которых потребует сохранение партийного единовластия, окажутся не всем им по душе и под силу, — это тоже еще скрыто от них самих. Впрочем, после 1930—33 годов выбор для них еще более сузится: прибавятся такие грехи перед народом, что куда уже будет деваться от Сталина, кроме самоубийства или тайного ропота? И они не убьют его, когда еще могли бы убить, ибо его железная воля к власти и "уголовная уникальность" (А. Авторханов) все-таки охраняют их всех от падения и расплаты. Без Сталина рухнут все, а, ходя под ним, каждый из них надеется, что погибнет сосед, а он уцелеет.

Но где же Бухарин? Почему на этом последнем партийном форуме, где он получил бы еще хоть какую-то возможность выступить, он не защищает своей программы? А он на съезд не пришел. Он болен. Среди орущих на съезде "толстокожих вождей" мало ораторов, которые не потешались бы оскорбительно над сообщением Бухарина о болезни, присланным им вместо себя на съезд. "Тонкокожий" Николай Иванович должен был заранее истерзаться, рисуя себя, удачливого и обаятельнейшего "Бухарчика", "любимца партии", баловня Кобы, его недавнего присяжного теоретика, кающимся на этом позорище под лавиной этих пинков и плевков, фамильярных издевок партийной толпы и уничтожительных приговоров Сталина. Не мог ли Бухарин?.. Нет, что вы, не мог! Не приспособлен был для такой войны. Не обладал психическими возможностями для поединка со Сталиным. Да и какой мог быть поединок в этом содоме, где сотни затыкали рот единицам, каждой поочередно?.. Бухарин ушел от бесполезного унижения, предоставив его друзьям, которые выстояли,

уклончиво ругая себя, но его не ударив ни одним словом. Он и уходить по-настоящему не умел: не пустил себе вовремя пулю в лоб, как Томский, решивший не дожидаться сталинской пули. Не попытался покончить с собой, как пытался Рыков, у которого домашние вырвали револьвер, сохранив мишень для Сталина. Николай Иванович ни в чем не умел дойти до конца: ни в размышлениях, ни в отказе от размышлений, ни в борьбе и выборе, ни в уходе от выбора и борьбы.

Никто из авторов, пишущих о Бухарине, не может ручаться за подлинность его знаменитого самиздатского письма к коммунистам будущего, написанного якобы уже в тюрьме. Но многие отмечают высокую степень правдоподобия для Бухарина этого завещания. Его лейтмотив — решительное отождествление себя с большевизмом, с марксизмом-ленинизмом — от Маркса до Сталина ("...ничего не замышлял против Сталина"). Обращенное к коммунистам грядущего, призванным разобраться в трагических "заблуждениях" страшного бухаринского настоящего, письмо в подтексте адресовано безжалостному убийце, которому с таким же успехом можно было что-то доказывать, как топорю, опускаемому на шею казнимого. Исторгнутое отчаянием и страхом, оно не содержит ни одной мужественной осуждающей интонации, естественной, казалось бы, для человека, которому терять уже нечего. Даже Николаевскому в Париже в 1936 году* Бухарин сказал больше обличающих Сталина слов (хотя бы о коллективизации и о своем желании умереть), чем тут. Если не к тюремному, то к внутреннему, в душе сидящему, цензору, столь привычному для советского человека, для коммуниста, обращено это письмо — как свидетельство о благонадежности, о способности принять, не отрекшись от партии, весь тот кровавый ужас, в который по горло погружен пишущий.

* "Социалистический вестник", сб. № 4, 1965. Далее ссылки на тот же источник.

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

Итак, звездный час программного поединка со Сталиным кончился для Бухарина достаточно быстро. Он вышел из этого поединка человеком политически конченным, без воли к борьбе и продолжению умственных исканий.

То, что Бухарин успел пережить от начала своего падения до расстрела, было вряд ли менее разрушительно для его личности, чем для личности Ленина — его болезнь и блокада, которой подвергло его Политбюро во время болезни. В Иране имелась такая кара — срок заключения с последующей смертной казнью через несколько лет. Нечто подобное довелось пережить Бухарину на сталинской "воле". Представьте себе падение с головокружительной высоты власти над огромной страной и Коминтерном — падение с замедлениями и ускорениями, с остановками и коварно-обманчивыми поддержками со стороны палача, с неожиданными, в относительно мирные моменты, пинками. Бухарин не сопротивлялся и лишь время от времени пытался доказать свою благонадежность. В 1936 году он последний раз был в Европе и не попытался бежать. Б. Николаевскому он объяснял это по-разному: привык к "напряженному ритму" советской жизни; уверен, что в СССР прокладывается все-таки магистральный путь спасения человечества; полагает, что ради построения коммунизма, действительно, следует "подстригать" и "ровнять" все, что как-то приподнимается над введенным в бетонное русло потоком его строителей или отбивается в сторону от него... И тут же рассказывал, что чуть было не покончил с собой: удержало сердечное и бодрое слово случайного встречного. Сожалел, что не может встретиться с Троцким, но объяснял это занятостью и расстоянием, а не страхом перед "хозяином" или стыдом перед Троцким, поверженным при решающем содействии Сталину со стороны Николая Ивановича...

Думаю, что была и другая причина не пытаться бежать. Бывший глава Коминтерна в совершенстве знал, как Москва охотится на высокопоставленных "невозвращенцев", как бес-

пощадно убирает перебежчиков из "своих". Тогда еще ни западные правительства, ни общественность беглых большевиков под особую защиту не брали. Скорее всего, он настолько боялся к этому времени "дорогостоящего Кобу"*², что не смел шевельнуться без его дозволения. Разве что шевельнуть языком, да и то — с бесчисленными перестраховками. Вероятно, и в Париже он чувствует себя "под колпаком" у Сталина, и это чувство его не обманывает. В его последних беседах на относительной "воле" (бедный расконвоированный!) с будущими мемуаристами немало обычных для него смещений в сторону полуправды, имеющих хорошо различимую цель. Вот он рассказывает о своих взаимоотношениях с болеющим Лениным и о преемственной связи своих выступлений 1926—30 годов с последними работами Ленина. Бухарин, действительно, был долгое время близок семье Ульяновых. Но в своем рассказе он смещает хронологию этой близости: в конце 1922 — в 1923 годах ее уже не было... Бухарин участвовал в совещании на высочайшем уровне, передавшем Сталину надзор и власть над умирающим, но еще пытающимся работать Лениным. Бухарин — редактор "Правды" — не возражал против цензуры Политбюро над статьями больного Ленина и не помогал ему ее обойти. Бухарин не контактировал с умирающим Лениным вне официоза, и все попытки Ленина или Крупской найти управу на Сталина адресованы Каменеву, Зиновьеву или Троцкому, но не Бухарину, который теперь с многословной сентиментальностью подчеркивает свою верность Ленину, живому и мертвому. Воюя против Зиновьева, Каменева и Троцкого, которых Крупская пыталась поддерживать, Бухарин достаточно едко одергивал и ее, ставя ее на место. Бухарин не рассказывает Николаевскому, что Ленин умирал полуарестантом, что он ни с кем не обсуждал своих последних статей и писем с их грифами о сверхсекретности... Николай Иванович благодушно передает Б. Николаевскому юмористические подробности своей беседы с академиком Павловым: суровый, но чудаковатый старик сначала хмурил-

*А.И. Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", т. 1, стр. 410—415.

ся, принимая у себя против своего желания твердокаменного большевика Бухарина. Потом увлекся беседой; затем, узнав, что хобби Бухарина — энтомология, и вовсе размяк, пригласил его к завтраку, и потекла на равных беседа двух интеллектуалов — старого и молодого, либерала и революционера... Ни слова — об уничтожительном гласном отказе И.П. Павлова голосовать за проведение Бухарина (с его незаконченным высшим образованием и псевдотеоретическими построениями) в академики.

Ни слова — о своей собственной высокомерной, циничной, не вежественной печатной отповеди старому академику, отрывки из коей мы выше цитировали. Занимательные, живые детали встречи двух эрудитов с разными взглядами, но в общем-то — равно своих в мире мысли... То же и в реплике о досадной невозможности встретиться с Троцким: обойдена пропасть, которая разделяет соучастника Сталина с его поверженным и травимым противником. Есть два ветерана одной революции, которым лишь внешние обстоятельства мешают встретиться...

Складывается упорное впечатление, что Бухарин создает себе в последних своих разговорах со свободными социалистами Запада некое нравственное и концептуальное алиби. Он старается вызвать симпатию собеседников, отстранив себя в их глазах от Сталина. Несколько многозначительных фраз при обаянии говорящего и при его способности так вживаться в каждую свою интонацию, что и сам ей верил, должны были поставить — и поставили! — Бухарина в стороне от... Бухарина: Бухарина возможного, но не состоявшегося, от Бухарина — соучастника и орудия Сталина во внутрипартийной борьбе 1924 -1927 годов и в Коминтерне. Он возвращался под занесенный уже топор — то ли считая, что бесполезны попытки скрыться; то ли питая надежду, что пронесет: что Коба не решится на такой шаг; то ли (и это наименее вероятно) под гипнозом пресловутого партийного долга. Не предположил ли он, что за него, предстоящего в этих беседах чуть ли не демократом и либералом, заступится в роковой момент мировая общественность, как заступилась она

в свое время за эсеров? Тем более, что тогда Бухарин, против воли Ленина, этому вмешательству изрядно способствовал.

Истинным алиби мог стать для Бухарина путь Ф. Раскольникова — серьезный, без расчетов и подстраховок, разрыв со Сталиным. Или хотя бы искренний — в меру сил — анализ большевизма, переданный кому-нибудь из европейских собеседников.

Бухарин на это не пошел. Ему вообще было свойственно и на бумаге, и в жизни не идти "на", а уходить "от". Драматически выпукло предстает это его свойство: петля и уклоняться, пытаться выскользнуть из альтернативной ситуации — и в этих его последних почти свободных беседах...

И все-таки он оставил потомкам труд несомненной ценности: свой редакторский вклад в часть томов третьего издания сочинений Ленина. Общеизвестно, что второе и третье издания сочинений Ленина в СССР запрещены и изъяты из массовых библиотек, хотя сами ленинские тексты в пятом издании и отчасти даже в четвертом представлены полнее, чем в третьем. Причина — в тех комментариях и дополнительных материалах, которые приданы томам упомянутого издания, отредактированным Бухариным. Многим документам, вышедшим из-под пера Ленина, приданы в этом издании контрдокументы, с которыми Ленин спорит или на которых основывает свои выступления. Историческую ценность этих контрдокументов для советского читателя, лишенного всяких нетривиальных источников информации, трудно переоценить. Отчасти такой оценкой может служить запрет на выдачу этого издания рядовому читателю (по спецдопускам его, разумеется, выдают). Думаю, что Бухарин не бессознательно дал себе волю представить хотя бы петитом, хотя бы в мало читаемых примечаниях и приложениях, ход событий, более или менее близкий к действительности, а не только ленинскую тенденциозную и партийно-корыстную версию этих событий. И это опять говорит о невозможности исчерпать его внутренний мир, его сокровенные симпатии и антипатии характеристикой целостной и односторонней.

БУХАРИН И ЗАПАД

"Ученые коровы либерализма", "пустопорожние болтуны из "живых трупов" распавшегося II Интернационала", занятые "проституированием (выделено Бухариным) марксизма", "лизанием генеральского сапога", — вся эта "социал-демократическая падаль" (искреннейше прошу прощения, но это не я, а Бухарин*) сегодня усердно решает вопрос о том, должно ли руководство КПСС реабилитировать Бухарина. Почему-то их нисколько не занимает вопрос о том, должны ли они сами простить Бухарину эту грубую ругань. Более того: их не интересует, вправе ли Запад вычеркнуть из наследия одного из организаторов, а затем и главы Коминтерна следующие откровения: "Одна из величайших заслуг товарища Ленина состоит в том, что он первый** во всем марксистском лагере поставил вопрос о революционных войнах пролетариата. А, между тем, это — одна из самых важных проблем нашей эпохи. Ясно, что грандиозный мировой переворот будет включать и оборонительные, и наступательные войны со стороны победоносного пролетариата: оборонительные — чтобы отбиться от наступающих империалистов, наступательные — чтобы добить отступающую буржуазию, чтобы поднять на восстание угнетенные еще народы, чтобы освободить и раскрепостить колонии, чтобы закрепить завоевания пролетариата". (Выделено везде Бухариным).

Нелогично, поддаваясь гипнозу демагогической революционной фразеологии, прощать эти фразы Бухарину и одновременно метать громы и молнии в современный ЦК КПСС за успешное претворение в жизнь бухаринско-ленинских планов мировой экспансии коммунизма.

А следующее заявление Николая Ивановича — оно его еврокоммунистических адвокатов не настораживает? "Гражданская война в более "культурных" странах должна быть

* "Теория пролетарской диктатуры", "О ликвидаторстве наших дней".

**Отнюдь не первый, но что поделаешь: легкая лезть учителю...

еще более жестокой, беспощадной, исключаяющей всякую почву для "мирных" и "законодательных" (!!!) (знаки, поставленные в скобках Бухариным) методов. ...говорить о "мирных" и "законодательных" путях просто смешно". Здесь-то уже пишется непосредственно о программе нынешних "еврокоммунистов": их обещания "мирных" и "законодательных" способов перехода к социализму заранее взяты Николаем Ивановичем в презрительные кавычки с тремя восклицательными знаками в скобках! Так что демократический мир имеет не менее оснований решать вопрос о реабилитации Бухарина, чем ЦК КПСС: неизвестно, перед кем он более виноват...

Помню, как-то довелось мне читать "отклики прогрессивной общественности Запада" на процессы "врагов народа". В одном из "откликов" Тухачевский был назван Бонапартом, а Бухарин — "Макиавелли в кожаной тужурке".

Бухарин был весьма своеобразным макиавеллистом. Его макиавеллизм сводился, главным образом, к той словесной гимнастике, о которой мы уже говорили и которая имела основной своей целью подгонку реальной политики большевиков под привычные марксистско-революционерские фразеологические обороты.

Как самостоятельный политик-практик, объединяющий и использующий людей собственными усилиями и по своему личному плану, он ничего не стоил, что справедливо отмечено А. Авторхановым. Он был легко блокирован Сталиным и отрекся от себя почти без сопротивления. "Кожаная тужурка" не была для него естественным атрибутом, органической формой, как френч — для Сталина или шинель — для Дзержинского. Он принадлежал к "пиджачной" элите ленинской партии. Тужурка и связанные с нею словарь и позы были для него в значительной степени привычным театральным костюмом, приросшим к коже и даже пустившим корни в душу и плоть актера, но все-таки связанным с постоянной игрой. Неполная органичность для него той реальной исторической роли, которую он играл в большевизме, неизбежная психологическая и программная поло-

винчатость его поздней попытки изменить эту роль, изменить ход событий привели к парадоксу: из двух наиболее мощных тенденций, противостоящих друг другу в нынешнем мире (тоталитарной и демократической), ни одна не может принять его. Ближе всего он промежуточным группам, пытающимся совместить несовместимое, хотя, как мы видели выше, он и эти группы шельмовал достаточно резко.

"ДОРОГОЮ СВОБОДНОЙ..."

Жутким и знаменательным образом пересеклись дороги Осипа Мандельштама и Николая Бухарина. Соучастник и царедворец, Бухарин ни разу в жизни и не приблизился к тому странному и упорному мужеству, с которым Мандельштам читал случайному собеседнику свои столь несвойственные ему и столь неизбежные для него стихи об их общем убийце. Отдадим, однако, Бухарину должное: он помогал Поэту, как мог (пока мог). В сопоставлении этих двух судеб возникает не только сюжетное пересечение. "Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум"... Дорога свободна не потому, что на ней нет стен, а на идущем — оков, а потому, что влечет по ней свободный (неизлечимо и непоправимо с в о б о д н ы й) ум. Он живет один — и говорит за всех. Когда нечто примешивается: благоразумие, тщеславие, расчет, оглядка, — осененность благодатью уходит. Поэт умирает полубезумным на пороге лагерного барака или на нарах от голода и холода. Но умирает полубезумным на пороге лагерного барака Великий Поэт. Свобода Осипа Мандельштама и власть побочных для мыслителя соображений над Николаем Бухариным вели начало от одного и того же Зова: "Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум". Один, творя, ничего, кроме этого Зова, не слышал. Другой и н о г д а слышал Зов (таким, и н о г д а слышащим, хуже всего), но не шел на него. Побочные соображения всегда оказывались сильнее.

Через сорок лет после мученической кончины обоих некий мародер, торгующий анекдотами из жизни своих убиенных

товарищей, изобразит Мандельштама городским сумасшедшим, юродствующим на площади. Я не знаю, что более кощунственно в этом портрете: вскользь брошенное Катаевым замечание, что Мандельштам сам виноват в своей гибели, или добротные валенки и белоснежный тулуп на замученном голодом, холодом и разлукой лагернике?..

А Бухарин "сам виноват" в своей гибели или вина на других? Беспощадным ли: "За что боролись, на то и напоролись!" — припечатать его могилу или вставанием почтить человеческую трагедию — еще одну "задушенную возможность" России?

Не знаю. Винить или миловать не берусь. Скажу только, что лучше ему оставаться среди убитых Сталиным, не по о ш и б к е , чем быть оправданным нынешними: им ли оправдывать? Может быть, смерть, отрезавшая Бухарина от Сталина, — это и есть прощение, награда ему за попытку встать и, раскинув руки, остановить катившийся на страну очередной мор?.. И за то, что чаще хотел быть добрым, чем злым? И за помощь Поэту?

Каждому — свое. И мародер получит свои тридцать серебряников очередного зарубежного рейса и публикацию повести* — вместо чечевичной похлебки. Но бессмертия не удостоится, хотя и поторопился воздвигнуть себе памятник рядом с убитыми. Бессмертным останется только Поэт, ибо бессмертны — свободные.

* Вал. Катаев, "Алмазный мой венец", Москва, "Новый мир", 1977.



Петр ВАЙЛЬ,
Александр ГЕНИС

МЫ - С БРАЙТОН БИЧ

"В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть человеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности.

...Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости..." (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 год. ИМКА-Пресс, Париж, стр. 24 -25).

Достоевский перевернулся бы в гробу, если б узнал свои слова, напечатанные в журнале, выходящем в еврейском государстве.

Да, но и этого мало. Ведь цитата эта приводится с тайным умыслом внести некоторую полемическую струю, эдакий легкий намек и двусмысленность, но, говоря откровенно,

сразу ясно, что речь пойдет ни о каких не о русских, а о евреях.

— Она такая милая девушка, а он в магазине работал. Жили в Кишине на Ленина. Все у них было. И цветной телевизор, и шубы. Все. А тут решили ехать. Она говорит: "Будет у меня свой дом, ничего не буду делать. Целый день в маникюре ходить. Возьму черную, она за меня будет и стирать, и убирать, и все делать". А приехали в Нью-Йорк, его взяли в супермаркет за три доллара в час. А она ходит по домам клинить апартаменты. Плачет целыми днями, все звонит маме в Кишинев и уговаривает не ехать. А та не верит. Вы, говорит, зажились...

(Из разговора)

И все же слова великого писателя-антисемита — не только ради красного словца, не только ради гуманитарной спеси. Видится что-то провидческое в интересе художника-почвенника к эмигрантским проблемам. Правда, интерес специфически великоросский. Но тут и встает вопрос: а кто приехал в Америку — русские или евреи? Уезжали-то точно евреи. В Советском Союзе даже дети знают, что в Америку едут евреи. Но по ту сторону Атлантики эти евреи становятся Russians. Америке совершенно не интересны советские этнические проблемы, всякие там курчавости волосяного покрова, особенности произношения "р" и окончания фамилий. Если ее, Америку, что и интересует, так это страна рождения наших евреев, хотя и на это ей в общем наплевать. Настолько Америка насыщена экзотическими эмигрантами, что на русскую экзотику ее уже не хватает. Вот и получается, что переполненный национальными вопросами, как Ленин на Пражской конференции, бывший советский еврей Рабинович становится достаточно унифицированным Russian. Постепенно и сами переселенцы утрачивают необычайный комплекс ощущений, связанных с пятой графой, и осознают себя просто "из России". Этот момент закрепляется в русской печати, и все как-то забывают, что "третья волна, розовая волна эмиграции" — волна еврейская.

— Когда начинается Йом Кипур, в Сенате объявляют каникулы.

(Из слухов)

Но чтобы окончательно превратиться в Russian, советский еврей должен пройти искус синагогой. Все мы, переезжая священный Рубикон, бормотали заветные слова на идиш: (как

то: куш мир ин тохес и ахицын паровоз), вспоминали названия праздников и как себя вела бабушка в пост. И действительно, первые шаги по свободной Америке наш еврей делает со смутным ощущением, что иудаизм здесь вместо политинформации. Когда ему дарят посуду набожные соседи, он послушно старается запомнить, что для молока, что для мяса. Елку на Новый год (а совсем не на ихнее Рождество) он прячет в мешок, как утопленника. Колбаса покупается кошерная, а дети поспешно обрезаются. Но вот проходят первые месяцы устройства. Подарочный ручеек иссыкает, и в эмигранте зарождается пагубное свободомыслие: вскормленный атеизм берет свое, и начинается реформация. В соответствии с поговоркой "Если уж есть свинину, так жирную", сало появляется на столе и в субботу, а у американских соседей-ортодоксов появляются обильные недостатки.

Путь от безверья к вере и обратно совершается быстро, безболезненно и обязательно.

Речь, конечно, не идет о людях, покинувших Россию из-за религиозных преследований. Такие здесь тоже есть. Есть совсем молодые ребята, которые окончили подпольный хедер где-нибудь в Ташкенте, а здесь отдают жизнь распространению слова Торы среди неверующих соплеменников. Хотя их очень немало, они представляют нехарактерное меньшинство. Большинство — инженеры и портные, продавцы и зубные техники — легко и быстро прощаются с синагогой, которая была так запретна и так желанна в России.

Так начинается и проходит любовь евреев русских и американских.

— Одна вышла замуж за любавича. Ей все говорили. А она: "Вы ничего не понимаете, они очень хорошие и богатые". А как он ей голову побрил перед свадьбой, так она и заплакала. А куда ей теперь лысой деться? Кто такую возьмет?

(Из разговора)

А ведь различия их не так глубоки, а корни, общие для Рабиновича из Шепетовки — американца с 1977 года и Рабиновича из Шепетовки — американца с 1904 года, наоборот — глубо-

кие. Евреи везде остаются евреями. Но акклиматизировавшиеся американские евреи, давно считающие Штаты своим домом, видят в синагоге и шабесе исключительный атрибут еврейства. Для них ОВИР это и есть средство попасть поближе к действующей синагоге. За это они боролись в своих комитетах, на это они давали свои цедаки, и они хотят результата. А когда результат обнаруживает себя плачевным, вежливые контакты переходят в прохладные и отсутствие таковых. (И опять речь, конечно, идет далеко не о всех евреях-американцах — как известно, число секуляризованных евреев достигает в США трех миллионов — но советский эмигрант попадает в среду религиозную, так как она гораздо активнее.)

И что действительно любопытно, так это ситуация с синагогой. Ведь в России она выполняла те же функции ядра конденсации. Там собираются отказники (или около), туда ходит молодежь, мы знали одного профессора — ехать он никуда не собирался, — который вдруг купил себе место в синагоге. Еврейский клуб, где можно поговорить по душам, перестал быть родным в Америке — здесь стало важно родство не этническое, а языковое и культурное. Значит ли это, что наш еврей не только Russian, но и русский больше, чем еврей?

— Слышал, вроде Брежнев умер?

— Хорошо бы было.

— Чего ж хорошего, пусть живет, он евреев отпустил...

(Диалог)

Вот тут-то и пора вернуться к цитате из классика. Очевидно, что несмешению с американцами (о том, как не смешиваются, речь еще пойдет) активно помогает мощный российский культурный комплекс. Вероятно, ассимиляция в первом поколении эмигрантов так же исключена, как неизбежна она во втором. Вопреки мнению Федора Михайловича, современный русский не изучает дух каждого чуждого языка до тонкости, а предпочитает обходиться без него вообще. Нечто общероссийское настолько мощно заложено в ментальности нашего еврея, что он моментально забывает о своей национальной обособленности на географической родине, зато

ощущает кровную близость хоть бы и с монархистами с той же родины. Но на деле не доходит до объединения евреев и русских в Обществе Совместной Борьбы Против. Ибо для евреев есть Брайтон Бич.

Что же такое Брайтон Бич? Гетто, Касриловка или Земля Обетованная?

Прежде всего, это один из районов Бруклина — самой многочисленной части большого Нью-Йорка. Узкая полоска домов вытянулась вдоль широченного пляжа — южная граница города, дальше Атлантический океан. Вдоль моря "прогулочная" — деревянный настил со скамейками и ларьками (есть и свежее пиво). Невдалеке Кони-Айленд — воспетый О. Генри "никелевый рай", а говоря по-русски — парк культуры и отдыха. Это в общем-то самый демократичный пляж среди тех двухсот, которыми хвастаются нью-йоркские путеводители. Но летом и здесь народу хватает: близко, можно добраться и на сабвее.

На Брайтон Бич возникли рестораны, такие, как "Одесса" или "Садко" (типичное украинское имя).

"Нью-Йорк Тайме" от 7 января 79 г.

Ничем не примечательный район. В двадцатых здесь поселились эмигранты из Восточной Европы, в основном евреи. Потом родители состарились, дети разъехались — поближе к Манхэттену или в богатые пригороды, а район медленно покатился вниз.

Кстати, это — явление настолько поразительное для новичка в Америке, что заслуживает пары слов. Дело в том, что в Нью-Йорке полно трущоб. Самых настоящих, по Диккенсу. Выглядит жутко. Наверное, как Сталинград после победы. А происходит это так. В доме поселяется негр, который нигде не работает и не платит за квартиру, потом другой, третий. Хозяин, чтобы заставить платить, отключает свет, газ, водопровод. Но ребят, которые целый день пьют или колотятся, это не смущает. Домовладелец отступает, а дом становится коммуной. Через год, когда от дома остаются руины, ребята переселяются в другой район, попримичней. Дом стоит, пугая

военными ассоциациями. А снести его нельзя: частная собственность.

Да, так к 1975-му Брайтон Бич доходил до ручки. Улицы стали пустеть на глазах, окна — зиять, а население — темнеть. В поисках выхода старые жильцы наткнулись на русских пришельцев. Сначала с недоверием, потом с радостью, а потом еще пришельцы и стали старыми жильцами.

Когда приехали первые русские, их сразу предупредили соседи: ни в коем случае не выходите на улицу вечером. Здесь такое творится! Но прошло пару месяцев, и начали собираться бабки на скамейке возле дома. Посидят, потрепятся, ну, как в России. Американцы сначала поражались, но смотрят — никого не убили, не ограбили. Стали потихоньку тоже выходить. И теперь Брайтон стал, наверное, самым оживленным местом по вечерам.

(Из рассказов старожилы)

Сейчас в небольшом Брайтоне живет десять тысяч русских (почти все из Одессы). Это — треть тамошнего населения, но треть самая активная и заметная. Государственный язык здесь — русский, политика — патриархальная демократия. А еще треть — половина всей третьей эмиграции в Нью-Йорке и любопытнейшее этнографическое явление. Идеальный эксперимент.

Америка тем и хороша, что ничего не дает, кроме возможности жить, как хочется. Люди, собравшиеся на Брайтоне, этом "острове пингвинов", занимаются именно этим. Отъединившись от американцев языковым барьером, они живут так, как будто нет ни СССР, ни США, а есть одна Одесса, город порт-франко...

Как и почему попадают на Брайтон Бич? Да совершенно естественно и потому, что в эмиграцию едут — жить.

Какой-нибудь француз или там, скажем, немец, тоже иной раз едет в Соединенные Штаты: денег заработать, белый свет посмотреть, да и назад в свою Францию или Германию вернуться — в большинстве случаев. Советский эмигрант не таков: он точно знает, что пути назад нет. Он едет жить — с пустым карманом, с обзаведением скарбом и домашними животными, соседями и друзьями, потомством и граж-

данством. Денег заработать — да, а уж такое легкомыслие, как белый свет посмотреть, — у многих ли? Не до того — жизнь надо ставить.

Подъезжали в поезде к Вене. Один из нас стоял у окна с соседом по купе. Внизу и вдаль растекалась река, и сосед, лихорадочно блестя глазами, спросил: "Река какая?" — "Дунай..." — улыбнулся хорошо и засмотрелся. Вдали потянулась цепочка стройных деревьев. Сосед, мелко-мелко облизываясь, спросил: "Кипарисы?" — "Тополя пирамидальные". — "Тополя..." — и не взлюбил больше.

Нельзя было так говорить. Хотел человек кипарисы в Вене, а что широты не те — какая разница. Золотые груши на вербе растут, голые девочки прямо на улице подходят, карман от денег пухнет — зря, что ли, ехали?

...Недавний эмигрант из СССР Миля Хазин пятью выстрелами из пистолета убил другого русского эмигранта Зиновия Кругляка... Оба киевляне, вошли в долю и открыли на Орчад стрит магазин женской верхней одежды. Через некоторое время компаньоны не поладили и разошлись. ...Происходили конфликты, усиленные финансовыми проблемами, которые не до конца были решены при разделе имущества.

Миля Хазин достал пистолет 22-го калибра... и, стоя на тротуаре у своего магазина, дождался появления Кругляка. Это произошло в шесть часов вечера. Хазин подошел к Кругляку и пять раз выстрелил в него. Тот скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу Бельвю.

"Новое русское слово" от 28 марта 78 г.

Помнится, известный в Риме и Остии Абрус, промышленявший развозом экскурсий по Италии, рассказывал: пришли к нему мужички, о поездке договариваться. Абрус давай названиями поигрывать: хошь на север — Флоренция там, Пиза, на юг — Неаполь, Капри. Мужички ему твердо говорят: "В Пизу не надо. Надо в Венецию и в Бомбей". Тот попытался выкрутиться: мол, далековато, моря, океаны, въездные и транзитные визы. "Ничего, — говорят, — заплатим, доволен будешь. Вези". Абрус, бедняга, уже сознание теряя, добился-таки, что нужны им Помпеи. А в чем дело? Это были евреи из Армении, почти армяне уже. Им еще дома сказали, что есть в Венеции

старая армянская община — и вправду есть, на острове Сан-Лаззаро, с церковью, со школой, чуть ли не старейшая в Европе. А про Бомбей тоже еще дома сказали: дескать, хорошо, хоть и никакой общины нет, в Бомбее. Или в Помпеях? Да нет, вроде про Бомбей говорили, сейчас уже не поймешь...

Итак, едут люди серьезные и сразу же серьезно начинают жить. И потому первый Брайтон Бич происходит в Остии.

— Он достает пульку из кармана. Это, говорит, против черных, ты не бойся. А из другого нож, такая дуля! Это, говорит, я для того, чтобы показать, что со мной не страшно.

Подруга — подруге

Остия — сказочное место: Тирренское море, пляжи, теплынь, до Рима рукой подать — 25 минут на электричке. Но вот началась эмиграция из СССР — и остийские хозяева забеспокоились. С одной стороны — все чудесно: раньше только на лето квартиры сдавали, а теперь круглый год; а с другой стороны — солидный, богатый клиент прямо на глазах переводится. Становится Остия русским городом — ну, ладно, скажем, русско-итальянским. И опять-таки неясно: плохо это или хорошо. Оборот магазинов растет — успевай завозить, международный переговорный битком, а раньше два-три человека в день только и попадалось. Автобус, электричка... А бары! А винные лавки! В пору петиции писать в Политбюро о большей свободе эмиграции.

И наш еврейский эмигрант, который в Италии — Russo, как в Америке — Russian, не теряется. И даже тут, в явном транзите — ну, три-четыре месяца — живет, а не пережидает. Russo оккупировали почту, а ведь она, рассказывают, была центром сборов местных молодых ребят. Но куда ж им тягаться! Полукруглую колоннаду почты еще несколько лет назад народ-языковорец назвал "еврейским Колизеем". Днем здесь бегают пацаны, звонко крича по-русски, и посиживают редкие любители неподвижных игр. Но вот с шести, примерно, вечера открывается клуб — остийский филиал Брайтон Бич, его предтеча, форпост эмиграции. Здесь играют в "шестьдесят шесть" и в домино, здесь снимают квартиры и сдают квартиры



Форпост Брайтон Бич в Италии — Остийская почта.

Кланом.



...К вечеру здесь откупоривается водка "Гордон", нарезается чесночная колбаса, выносятся одесская тылька, и под песню "И прольется в сердце сладкий яд" вкрадливо и прекрасно танцует курносый человек с золотым крестом на шее...

— Как называется ваш магазин, Фоня? — Брайтон Бич 1107.



здесь меняют доллары на лиры и лиры на доллары, здесь мальчики ищут девочек и девочки мальчиков (не с итальяшками же знакомиться), здесь принимают заказы на изготовление фотокарточек и починку штанов, продают и покупают сигареты и матрешек, янтарь и кораллы, здесь договариваются о перевозке вещей и поездке в экскурсию. Здесь кипит жизнь, да так, что знаменитые своим гвалтом и темпераментом итальянцы бормочут что-то вроде "мамма миа", проходя мимо.

**ГРАММОТНЫЙ переводчик с английского и наоборот. Спросить Давида.
Объявление на почте в Остии**

Те, у кого в Штатах родственники, едут к родственникам. А остальные? Пройдя краткую, но насыщенную подготовку Остией, еврейский эмигрант должен понять, если не понимал раньше, что путь один — на Брайтон Бич. Потому что надо жить, а жить надо вместе.

Конечно, многие настроены решительно: "Направьте меня туда, где как можно меньше эмигрантов из России". Хорошо, можно и это попробовать. Едут. Встречают. Подыскивают квартиру. В квартире — как водится, холодильник с едой. Едят. Съели. Идут работать — получают неплохо, покупают машину, две. Возвращаются с работы домой, обедают, ложатся в бассейн (общий на два-три домика), лежат в лазурной воде, глядят в лазурное аризонское (к примеру) небо. За вечерним чаем берется в руки старый номер "Нового русского слова". В Нью-Йорке открылся гастроном "Москва", в ресторане "Одесса" поет Марта Ковалевская, приезжает Владимир Высоцкий, принимают заказы на пельмени, адвокат Юлиус Ширинский даст любой совет, д-р Э. Лейбов от всего вылечит, в клубе русско-еврейской молодежи танцы.

Можно и без машин, и без бассейна. Но результат — тот же. Более трети всех, уехавших в другие города, через год-два-три съезжаются в Нью-Йорк. И больше половины из них — на Брайтон Бич.

Новоприбывший из Советского Союза таксист Борис Борецкий был арестован сегодня в аэропорту Кеннеди за попытку взять с пассажира 50 долларов за провоз внутри аэропорта на расстояние в мили.

Телепрограмма Эн-Би-Си-Ньюз 26 февраля 79 г. Репортер Ричард Эдмондс произвел выборку из списка нарушителей — нью-йоркских таксистов и определил 10 худших таксистов города.

Советский эмигрант Давид Цачуашвили был задержан за попытку взять с двух иранских туристов по 175 долларов с каждого за провоз в пределах аэропорта Кеннеди на расстоянии в одну милю... В течение прошлого года он 23 раза задерживался за нарушение правил.

"Нью-Йорк Пост" от 19 февраля 79 г.

— Next stop — Brighton Beach. — До чего все-таки омерзительный голос у водителей собвея. Отбор, что ли, специальный или динамики?

Вы спускаетесь по лестнице надземной станции и на день забываете, что вы в Америке. И первые слова, которые вы слышите, втекая в толпу: "Нет, ну это завал!" И это, действительно, завал, потому что сегодня воскресенье, и те жалкие ошметки английского, которые еще как-то слышны в будни, начисто заглушаются родной речью.

— Валерик такой тихий мальчик, мухи не обидит, а он его цепью бил.

На набережной

Вы идете в кино, потому что так надо. Каждое воскресенье в двенадцать часов бывает кино. Золотой фонд незатейливых советских комедий, "полных юмора и сердечных драм", как значится в афишах: "Кавказская пленница", "Операция Ы", "Двенадцать стульев", "Сладкая женщина". У Брайтона свои вкусы и привязанности, которые свято блюдут устроители киноантрепризы. Но и на старуху бывает проруха, и как-то запустили боевик "Прошу слова", все действие которого происходит в кабинетах райисполкома. С экрана хлынул широкий поток трудовых будней, наполненных бескомпромиссной борьбой хорошего с очень хорошим, и публика встревожилась. Сначала раздались неуважительные (мягко говоря) реплики, а затем начался исход из зала.

— Что ж эти бараны головами стучаются, ведь убиться можно. —
 Не, у них только сотрясение мозга бывает.

На фильме "Мимино"

Вы подходите за полчаса до сеанса к кинотеатру "Ошеана", где встречаете толпу, если не вовсе одинаковых, то похожих людей. Такое впечатление, что в культпоход вышел очень богатый детский дом, позволяющий себе наряжать воспитанников в дубленки и пыжиковые шапки. Весной и осенью состоится переход на демисезонную форму одежды: кожаные пиджаки. И только лето вносит истинное разнообразие, приводя в отчаяние неодинаковостью фасонов и расцветок. Зимой же плотность дубленок на квадратный метр — высочайшая в мире.

Кино очаровывает домашней обстановкой, так как все знают всех — и тех, кто в зале, и тех, кто на экране. Эффект узнавания, не стесняющегося в выражениях и высоте тона, производит неизгладимое впечатление.

— Вовчик, сделай нам "Штрафные батальоны".

На концерте Высоцкого в Бруклин колледже

Теперь — в магазины. Их на Брайтон Бич несколько — русских — и они небольшие. Но нужен Снейдерс или, по крайней мере, Гиляровский, чтобы описать висящие и лежащие радости чревоугодника. Матово поблескивает икра, плачут балыки, благородно золотится осетрина, колбасы источают такой аромат, что вы моментально начинаете источать слюну, как павловская собака. Селедка "шмальц" и селедка "матиас", селедка "шед" и селедка "пиклс". Баклажанная икра Одесского плодовоощторга и гречка из Мариуполя. "Боржом" и "Масло подсолнечное рафинированное". Хлеб! Хлеб — это то, чего не понять американцам. (Есть у нас один знакомый — не то пианист, не то таксист, но очень ловкий человек — так он умудряется покупать мясо по 90 центов фунт, но за хлеб охотно и радостно платит 2, 25.)

В этом магазине на Брайтон Бич авеню вы можете купить обувь на узкую, широкую и очень широкую ногу. Здесь есть все, как говорят



Пенсионер Михаил Згут на заслуженном отдыхе.

У кинотеатр "Ошеана". Примера фильме "Любовь земная" ажиотажа не вызвала.



американцы, for mammy, for daddy, for Johnny and Suzy, или, как говорят по-русски, — для мамочки, для папочки, для Сашеньки и Леночки.

Реклама по русской радиопрограмме

Вы ходите из магазина в магазин, беседуете, прицениваетесь. "Что-то у вас икра дороговата, вот я только что видел..."

"Что? Вы думаете там по три двадцать пять, так и все? Они ее пивом разбавляют!" — И вы погружаетесь в крошечные тайны технологии и конкуренции.

Куда идет нормальный здоровый человек после таких магазинов? Правильно, в винно-водочный. Правда, в воскресенье в Нью-Йорке они закрыты. Но мы же не в Нью-Йорке, мы на Брайтон Бич, и если вас сопровождает кто-нибудь из местных, то все будет в порядке: за умеренное вознаграждение вы получите, что надо. Остальные шесть дней недели — проще.

Прямо рядом с русским магазином с лирико-ностальгическим названием "Березка" — винный магазин. Хозяин его, китаец, поселился здесь не так уж давно, но прежде русских, и долго перебивался кое-как в окружении малоцивилизованных людей, а если б не негры — любители рома "Баккарди", то и вовсе бы прогорел. И тут началось заселение Брайтон Бич русскими евреями. Говорят, теперь китаец скупил несколько соседних домов и открыл филиалы в Гонконге и Буэнос-Айресе.

— Мне цыганка говорила, что я умру от насильственной смерти, так меня вчера чуть не изнасиловал один армянин.

Кокетливо

Если погода хороша, вы идете на набережную — "прогулочную" — деревянный настил на сваях, вдоль которого скамейки. Зимой тут тихо, только под низким солнышком греются старики в дубленках и пуховых шапках. Зато летом! Бабушки в платочках и бабушки в розовых шортах, бабушки с вязанием и бабушки с газетой. Классические крики, будто вы в Аркадии: "Боря, выйди с моря!" И на пляже черноглазые девоч-

ки, увертываясь от брызг, кричат черноглазым мальчикам: "Come on, фу, дурак!" И летит шелуха подсолнухов, и проскакивает матерок, и пробуют воду ногой в черной штанине мужики, не снимающие кепки ни на каких широтах.

Помнится, шли по настилу, и уже хотелось хоть слово услышать не по-русски — просто, чтобы стряхнуть наваждение: "Где я?" Навстречу шли два парня классической для Нью-Йорка латиноамериканской внешности: лохматые, усатые, бронзовые. Ну вот, слава Богу, эти-то не подведут. И проходя, услышали: "Так я ей, бля, суке, говорю..." Руки опускаются.

— Вот хочу ее обверзнуть — а не могу.

Певца о певце (искренне)

День заканчивается в ресторане "Одесса". Не то чтобы на Брайтоне других не было: "Садко", "Русская изба", но "Одесса" — самый большой русский ресторан в Нью-Йорке.

Любители европейской кухни обнаружат здесь kielbasi, pirogi, shashlik и большой выбор blintzes.

Сегодня воскресенье, и потому — сюрприз: танец живота. Животом танцует американка, для которой русские, что лапландцы, и когда вступаешь с ней в разговор, она бормочет что-то несусветное про Брежнева и Барышникову, выказывая полную политическую безграмотность. Но живот у нее — хоть куда, да и задница ничего — даже для Брайтона. И публика, привлеченная не столько экзотикой движений, сколько габаритами и умелым ими пользованием, вскакивает с мест и пихает долларовые бумажки в лифчик и трусы, норовя сунуть руку поглубже.

В остальном же здесь все как надо: "Смирновская" водочка, котлеты по-киевски, ансамбль "Одиссей", в конце вечера легкий и короткий мордобой, длинный банкетный стол со свадьбой. В разгар второй вспышки тостов, когда все уже в кондиции, но танцевать рано, за спинами сидящих одиноко и

отчаянно пляшет маленькая кривоногая женщина, повизгивая и размахивая платком. Выходишь в уборную, за перегородкой слышишь разговор подружек о походе в парикмахерскую и в задумчивости даже забываешь, зачем пришел. Вспоминаешь своего вечно пьяного старшину, который, пожалуй, покраснел бы, услышав эти нежные голоса. Спускаешься на улицу, в жаркий и прохладный океанский воздух. По тротуару идет босой негр в лыжной шапочке. Господи, ведь Америка!

Да, здесь на Брайтон Бич, все как надо. Это сказано без всякой иронии, какая уж там ирония, когда существует непреложный факт проживания десяти тысяч русских евреев на небольшой береговой полоске. Раз живут — значит, им надо так. Но почему?

**Кто честен, добр и одинок,
Напишет мне в короткий срок.
Я — верный друг и недурна,
Хозяйка и совсем одна.**

Брачное объявление

Людей толкает к совместному житью общность этнического комплекса, в нашем случае круто замешанная сразу на двух составных частях: русскости и еврействе. В чужой среде возникает масса проблем, требующих немедленного разрешения. Одна из главнейших — язык.

Учить язык трудно, и трудно русскому учить английский. Специалисты утверждают, сам интонационный строй этих языков резко различен, что мешает освоить именно разговорную речь. Книжная — еще туда-сюда, хотя, какие уж там книги, если и по-русски все заканчивалось чтением спортивного раздела в вечерней газете. Честно говоря, и превзошедши все от Достоевского до Фолкнера (хоть бы и по-английски), ты не можешь быть уверен, что в баре тебя поймут с маху. Потом-то конечно — бар все же...

А привычки? А еда?

Один за другим появляются в русском Нью-Йорке магазины, рестораны — и все мало, мало. Пельмени с доставкой на

дом, пирожки (причем даже именно такие невкусные, как у лоточниц в советских городах — особое ностальгическое извращение, видимо), консервы, которые не достать на доисторической родине: "Севрюга", "Белуга", "Осетр"... Каждый русский еврей в Нью-Йорке может ощущать себя старым большевиком или генералом в отставке, потому как магазин здесь есть некий эквивалент закрытого спецраспределителя. Одно обидно — открыты.

Бани вот еще русские не открыли — а зря. Хотя нашли и баню. Как она там формально называется — не важно, но вполне русская. И вот по субботам — все, как где-нибудь в московских Оружейных: с пивком (можно и с водочкой), с настоящим крутым паром. И без очереди!

Это все русское: язык, обычаи, еда... Но есть и еще особое нечто, делающее русских евреев отдельной нацией, обладающей собственной исключительностью, генетической памятью, мощным этническим комплексом. Это — именно сочетание русского в поведении с еврейским в ментальности. Так рождается совершенно самобытное явление.

— Да ты знаешь, как Куприн твою Одессу назвал? "Раскрашенная проститутка России", вот как.

Диспут с человеком из Кишинева

Почему в последние лет десять в Советском Союзе так пошло в гору грузинское кино? И ведь ничего особенного: так, горы, старик с винным рогом, тосты, песни, цоканье языком, цветущие мандарины. А Феллини? Как ему в "Амаркорде", скажем, удастся сделать фильм из ничего? Ну, крики "мамма миа" и "мадонна э порко", пинии, пальцы, сложенные "козой", речь вздохом. "Ничего" ли это? А если б играли голубоглазые блондины, говорящие по-японски, разве не определили бы мы в момент, что вот это грузины, а это итальянцы. Эта безошибочная узнаваемость — и есть самобытность. Яркая, не позволяющая спутать ни с кем и ни с чем другим. А попробуем представить такой вот сразу узнаваемый фильм, допустим, о немцах, о поляках, о белорусах, о русских. С трудом. А о русских евреях? Сколько угодно.

— Вы не думайте, я здесь при колбасе стою — я-таки в консерватории учился, тоже музыкант.

Беседа с хозяином продуктового магазина

Неистребимая тяга к самобытности за века создала отчетливый и обособленный образ русского еврея. Пиня Копман — "искатель счастья". Разве мало их, "искателей", на Брайтоне? Хохмачи, знающие все и про всех. Аидише мама, ведущая за руку своего вундеркинда со скрипочкой. Еврейская невеста с бараными испуганными глазами. Ушлый гешефтман. Прыщавый мальчик-поэт в очках и с математическими способностями. Библейский старик. Всеобщая тетя.

Где-то все это уже было. Ну да — у Шолом-Алейхема. А еще — в любом российском, украинском, белорусском городе с заметной еврейской прослойкой, то есть все той же шолом-алейхемовской Касриловкой.

— Да что вы все Брайтон, да Брайтон. Только здесь и жизнь!

Из разговора

Так что же, Брайтон Бич — это нью-йоркская Касриловка? Да, видимо, так. Десять тысяч человек поселились в тесноте и без обиды — добровольно. Уже потому это не гетто. Брайтон — не Земля Обетованная, ее просто не бывает. Русские евреи создают свою Касриловку, потому что всегда хотели в ней жить. Потому и поехали в Америку, а не в Израиль, что там, в Израиле, уже есть своя идеология. Ты можешь, конечно, разделять ее или нет, можешь быть даже против, но она есть, государственная идеология, с которой ты должен считаться и принимать, как данность. Десяткам тысяч евреев из СССР эта идеология Земли Обетованной нужна, десяткам тысяч — нет. Они хотят жить так, как должно жить в идеальной Касриловке.

Обязательно без погромов, но вполне можно и без синагог.

И какая разница, достижимо ли это в перспективе лет. Политики истины должны быть не менее истинны, чем сам результат — это говорил еще еврей Маркс. Чем хуже искреннее

стремление к идеалу, чем сам идеал? Стремись себе — Америка не против.

Итак, Брайтон Бич не гетто, не Земля Обетованная. Касриловка, Егупец, Зурбаган. Город воплотившихся надежд, или То, чего искали. Вроде бы решили проблему его десятилетиячного населения. Но этим все не кончается. Ибо есть еще легион тех, для кого главное: "Мы не с Брайтон Бич!"

Два недавних выходца из Советского Союза были арестованы в среду ночью в Манхэттене в результате инцидента с проституткой. ...А. познакомился на улице в 3 часа ночи с некоей Пат Кроун, 20 лет. К ним присоединился приятель А. — Б., чтобы "поддержать компанию", как он говорит. ...Б. вступил с Пат в спор, а затем и в драку и нанес ей несколько ударов по лицу. ...Им предъявлены обвинения: А. — в пользовании услугами проститутки и Б. — в нападении.

"Новое русское слово" от 23 июня 78 г.

Для Нью-Йорка, как, наверно, для всех западных городов, страшно важен адрес. Но Нью-Йорк еще и выделяется тем, что полосат до невероятия. Адрес человека здесь говорит вам все о нем. Скажем, живет ваш приятель в Манхэттене на 185-й стрит. Ясно. Интеллигент из бедных. А если в Даунтауне на Истсайде — значит, из потомственных украинцев. Ну, а если у вас вдруг появится знакомый с почтовым индексом Гринич Вилледжа, то вы попали в высший свет и богему одновременно. Для русских переселенцев эта топография жестко ограничивается доходами и квартплатой. Для большинства подходящ Брайтон. Но есть еще и Квинс. Здесь селятся технари, люди с прошлым и будущим. Профессионалы с языком и американской работой. А некоторые гордецы селятся в центре Манхэттена. Эти обладают "King's English" и служат в ООН. А есть еще университетские преподаватели и студенты, живущие в кампусах вокруг Нью-Йорка.

И все они не с Брайтон Бич. Не дай Бог подумать такое. "Мы — не "одесса"! "одесса" — не мы!" В эмиграции как-то еще острее чувствуются социальные рамки, границы, отделяющие образованных от необразованных, инженеров от лавоч-

никое и жен первых от жен вторых. А тут еще неравенство общественное закрепляется неравенством географическим. И одни косятся на других, и одни не хотят знать других, и одни другим не пара.

Но есть одно, что объединяет московского доцента и одесского завмага, есть нечто, что объединяет всю разноликую и разношерстную эмиграцию, и имя этому нечто — русская культура. Ибо русская культура — это духовное гетто, откуда нет пути в другую культуру, в другой мир.

- Так познакомишь меня с Аленушкой?
- Да Лера она, а не Аленушка.
- Какая еще Лера — Аленушка!

Диалог

Приехал человек в Америку, долго готовился, учил язык, читал литературу. Попал в среднеамериканский город — пол-миллиона жителей, две русских семьи. И вдруг начали сбываться самые смелые мечты. Нашлась работа — в торговом агентстве — и хорошая, появились деньги, дом, потом другой, две машины, а там и маленький переводческий бизнес. Короче, сбывлась сказка о Золушке в ее улучшенном американском варианте. И тут началось странное. Затосковал наш герой. И просит у друзей русскую книжку прислать из Нью-Йорка, и подписать на русские журналы, и тошно ему в своем пресловутом бассейне, и хочется на русскую работу. И никак не слиться ему с коллегами и соседями, которые дружить дружат, а домой не приглашают. И история это такая обычная, и объясняется она так просто... Ностальгия — и этакий вздох и развод руками. То бишь тоска по родине.

А по какой родине? Или наш герой не знает, какая у него родина?

Нет. Это тоска по экстракту этой родины, по вытяжке из нее, по русской культуре. Культур, как известно, бывает две. Но, в отличие от марксистских классиков, назовем одну "анти", а вторую, ту самую, по которой тоскует наш герой, прос-

то русской. И вот она-то охватывает весь комплекс нашей жизни там, или чего нам не хватает здесь. Все сюда входит: и книги, и их отсутствие, и манера пить водку, и манера ее не закусывать. Труд и отдых. Семья и любовь. Короче, наш образ жизни.

— Мы, русские, ощущаем свою культуру квинтэссенцией мировой. Наш уникальный опыт строителей социалистического государства дает нам иллюзию всезнания и всепонимания. И правда, придя на Запад, из будущего, мы смотрим на наших докоммунистических предков как на детей, играющих в демократию, тогда как вопрос демократий и время игр давно прошли. Наша наполненность идеализмом и скепсисом, наша погруженность исключительно в высшие духовные материи дает нам право не понимать веселый и легкомысленный Запад. Между нами и ними лежит пропасть, на одном краю которой Достоевский, а на другом Джеймс Бонд. И дело не в том, соответствует ли это правде и куда деть Фолкнера, а в том, что мы так их видим и в это верим. Это не дает нам сойтись с ними на короткой ноге и жить их проблемами. А нашими проблемами их жить не заставишь.

Из рассуждений интеллектуала

Так постепенно приходишь к выводу, что комплекс этот не адекватен кремлевским рубинам и что, может быть, его все-таки можно вывезти на подошвах сапог. Конечно, это не родная пыль в ее материальном воплощении, а субстанция идеальная. Но кто сказал, что в России она была иной? Что есть наша загадочная еврейская "славянская душа"? Ведь это она, а не английский язык и работа лежит между нами и некогда вождельным американским обществом. Это она мешает нам вариться в американском "кипящем котле". И как ни парадоксально, ее мы хотим лелеять здесь.

И отсюда приходит нарядная мечта об интеллектуальном Брайтон Бич, о своей, ученой Касриловке, некоем Академгородке на берегах Гудзона, об идеальном русском Городе Солнца, утоляющем наш славянский комплекс полноценнос-

ти. Кто ж не мечтает о России без... О претворенном в жизнь собственном представлении о России?

Вот он, невозможно-желанный, весь в блесках, как марципановый торт, огромный Брайтон Бич. Как айсберг для Вайсбергов и Рабиновичей, выплывает он из Америки, и все его обитатели радостными пингвинами галдят: "Мы с Брайтон Бич, мы с Брайтон Бич!.."

Фото М. Волковой

**ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ**

КОВЧЕГ №3

*Литературный журнал под редакцией Н.Бокова и А.Крона
Оформление О.Барышевой*

Львиную долю номера занимают главы из романа Эдуарда ЛИМОНОВА "Это я - Эдичка". В них рассказывается о судьбе эмигранта "третьей волны", о его попытках вырваться из эмигрантского гетто, пробиться к почве новой страны — Америки. Судьба героя драматична: покинутый любимой женой, он утрачивает смысл существования, однако продолжает бороться за "место под солнцем". Роман написан с необыкновенной искренностью и смелостью.

Арвид КРОН в статье "Про бабочку поэтиного сердца" анализирует это произведение — лучшее, что написано писателями "третьей волны" о жизни в эмиграции. "Ковчег" помещает также "Сказку про Ваську Немешаева, городского вора", — фольклор советского периода (публикация К. Кузьминского).

Цена номера 20 фр.фр.

Подписка на 4 номера 70 фр.фр.

**В Израиле "Ковчег" представляет Irina Grobman 28/7
Ephraim Str., Ваk'a, Jerusalem. Tel. 712-493.**

Всю корреспонденцию для редакции направлять по адресу: N. Bokov. Chateau du Moulin de Senlis 91230 Montgeron, France.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

**Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
24SWEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA**

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

"АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ"

"...Теперь из всей нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата... Но, безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими большими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба — это не что иное, как вражда, вывернутая наизнанку".

Приведенный фрагмент — авторский ключ к воспоминаниям Валентина Катаева "Алмазный мой венец", опубликованным в июньской книжке "Нового мира" (1978 г.). Термин "воспоминания" в данном случае, однако, не является абсолютно точным, несмотря на то, что все повествование посвящено исключительно конкретным людям.

Предваряя возможность превратного толкования, Катаев обращается со следующим призывом: "Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти..."

Попытка самого автора определить жанр своего произведения также не увенчивается успехом: "Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник... Но что же? Не знаю!"

"Алмазный мой венец" — картина литературной жизни в СССР, с широким охватом во времени, которое легко датируется годами жизни и смерти поэтов и писателей, представленных здесь под прозвищами: Командор (Маяковский), ключик (Олеша), птицелов (Багрицкий), щелкунчик (Мандельштам), председатель (Хлебников), королевич (Есенин), соратник (Асеев), синеглазый (Булгаков), конармеец (Бабель), мулат (Пастернак), друг (Илья Ильф), брат (Евгений Петров), штабс-капитан (Зощенко) и ряд других.



Аркадий ЛЬВОВ

ПРОСТОТА НЕСЛЫХАННОЙ ЕРЕСИ

*(Необходимое дополнение к исповеди
В. Катаева "Алмазный мой венец")*

— ... а я вам говорю: никакого времени нет. Время — это фикция. Выдумка Эйнштейна. Сжимается, разжимается, стягивается, растягивается! Как оно может разжиматься или стягиваться, если его вообще нет!

— Валентин Петрович...

— Не перебивайте меня! Один Достоевский понимал правильно: никакого времени на свете нет, а есть просто цифры, отношение бытия к небытию. Но я сам пришел к этому, без Достоевского: времени нет, никакого времени не существует, просто нам нужны какие-то рамки, чтобы найти для себя место — вот здесь я начинаюсь, а здесь кончаюсь — а на самом деле времени нет. Время — это выдумка Эйнштейна.

Я удивился: почему выдумка? По данным современной физики, Вселенная достаточно молода: всего 18-20 миллиардов лет.

— А до этого? — схватился Катаев. — Я вас спрашиваю: что было до этого?

—А до этого — сказал я,— была Вечность. Кстати, Августин Блаженный в своей космогонической концепции держался того же взгляда: Вселенной, с ее субстанциями пространства и времени, предшествовала Вечность — некое состояние, которому чужды категории времени и пространства.

— Что вы мне голову морочите со своим Августином Блаженным! Я вам повторяю, никакого времени нет и не было. Порядок вещей зависит только от нас, от нашей памяти. Я могу переставить все события, как захочу. Я, старик, могу подсматривать за собой, ребенком, я, маленький, могу подсматривать за собой, стариком. Подождите, я знаю, вы мне скажете, это прошлое. Ну и что же, что прошлое? А что, прошлое — это фикция бытия? Значит, мы с вами минуту назад — это уже фикция?

— Почему фикция?

— Нет, — он весь подался вперед, по-стариковски сухой, угловатый, на волчьих его ушах, как он сам определил их, вздыбились серые волоски, — вы отвечайте прямо: фикция или не фикция? Если фикция, тогда нам не о чем с вами говорить, если же вы понимаете, что это и есть само бытие, тогда ответьте мне на вопрос: о каком времени может идти речь, если я, даже не я, а моя память сама, по каким-то своим собственным законам, может переставлять все события прошлого! И прошлое от этого не теряет, наоборот, приобретает настоящий смысл.

У меня было странное ощущение игры в какую-то загадочную игру, на уме вращались всякие философские дефиниции — солипсизм, экзистенциализм, интуитивизм — в суждениях моего собеседника было намешано всего, как в лотке у коробейника, вдосталь, однако, ясно было, что философия, как некая научная система, меньше всего заботит его: речь шла об очень важном, наверное, самом важном, не в общем, абстрактном, смысле, а в конкретном, прагматическом, что для него, писателя, могло означать лишь одно — как писать, как изображать действительность, которая вся уже отошла в прошлое, а реставрация ее — через художественное слово, и претворение в часть настоящей, сегодняшней жизни целиком зависит от него.

Я дал себе слово не входить в полемику, а постараться лишь как можно лучше понять его, большого мастера, который и в преклонные свои годы — ему было тогда семьдесят восемь, — когда у других, если им посчастливилось дожить до этих лет, частенько отшибает память, сохранил поразительную ясность мысли и незаурядный талант распорядителя волшебной лавки писателя.

— Вот, — сказал он, — я напишу вещь, я еще не знаю, как она будет называться, и там все это будет. Раньше, в "Святом колодце" и "Кубике", я уже начал, но тогда я еще не был полностью свободный. Нет, цензура здесь ни при чем, цензура мне не мешает, она мешает только тем, кто ее боится, а я не боюсь, я пишу, как я хочу, как мне нравится, но, пока пишешь, иногда сам не замечаешь, что направляешь себя то туда, то сюда, а писатель не должен себя направлять: надо, чтобы писалось само. Это и есть "мовизм": никаких правил, никаких заданных форм, ничего, кроме образа, кроме слова, которые сами найдут свою форму.

Был обычный подмосковный, по-зимнему серый день, но в кабинете его, с огромными, во всю стену, окнами, на втором этаже переделкинской дачи, которая в последние годы стала, взамен квартиры в Лаврушинском переулке, главным домом не только для него, но и для всех его домочадцев, было много света, за окном стояли недвижимые сосны, дымчато-голубые вверху, по контуру хвои, с толстыми бурыми стволами, сплошь голыми, в суках, которые гнили, видимо, уже не один десяток лет, да все цеплялись за ствол, отстаивая свое, чурочное, бытие от небытия, которое для всех — и человека, и всякой твари земной, и дерева — едино.

У меня возникло ощущение какой-то нутряной, трудно уловимой по-первому, поверхностному взгляду связи между его суждениями и этим пейзажем, чуждым мне, человеку юга, три главных компонента которого — солнце, море, степь — были когда-то и его стихиями, заполнявшими каждую страницу не только "Паруса", сделавшего его, тогда сорокалетнего, живым классиком советской литературы,

с соответствующим сертификатом от правительства — орденом Ленина, едва ли не первым, которого удостоился советский писатель, — но и "Растратчиков", и "Время, вперед!", и "Квадратуры круга", и превосходных рассказов, сплошь и рядом не связанных ни с Одессой, ни с югом вообще.

— Этот пейзаж, — сказал я, — эти ели, эти сосны, серое небо, пригорки, перелески, рощицы — они, действительно, стали вашими? Вы не тоскуете по югу? Детство, юность — все там. Экзюпери, наверное, прав: все мы вышли из страны своего детства.

— При чем здесь тоскую не тоскую! — вскинулся он. — Я недавно перечитывал "Белеет парус одинокий" и сам удивлялся себе: что особенного я находил в этих одесских берегах! Просто глина, обыкновенная желтая глина, голые берега, как во времена "Одиссеи". Вы знаете, как греки называли Черное море? Они называли его понт Аксинский — Негостеприимное море. Самый паршивый кусок французского берега в тыщу раз красивее. Мы возвращались с женой из Франции, я стоял на пароходе и не верил своим глазам; на всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы.

Я не видел средиземноморских берегов, возможно, он прав, но его горячая тирада против некогда милых ему берегов Одессы казалась мне чрезмерной. Было странное впечатление, что он воюет с каким-то давним, невидимым врагом, который беспрестанно тревожит его память, его чувство собственной значимости, его писательское самолюбие. Но кто, кто он — этот враг?

— Странно, — сказал я, — что вы так переменяли свое отношение к Одессе. В конце концов...

— Чепуха, — перебил он меня, — ничего я не переменял, я никогда не выдумывал какую-то особенную Одессу. Просто тогда она казалась мне лучше, но даже тогда я не выдумывал Одессу, как Бабель, со своим Бенеи Криком и Славин со своей "Интервенцией" и Филькой-анархистом. Где они взяли этих людей? Я лучше их всех знал Одессу.

Одесса — это были попы с такими бородами, — он провел рукой вдоль пояса, — профессора в черной паре, врачи в пенсне, которое вечно болталось у жилетного кармана. Они приходили к моему папе. А Бабель ничего этого не знал: он же вообще не одессит, он приехал из Николаева, где его папа держал лавку, а потом всю жизнь уверял всех, что родился в Одессе, на Молдаванке. Так и осталось: Бабель — одессит. А теперь еще этот старый врун Паустовский со своими дурацкими историями наворотил целую кучу, лишь бы интересно было читать.

Я любил Константина Георгиевича, я любил его книги, у него в доме, на Котельнической набережной, откуда хорошо были видны кремлевские башни с их рубиновыми звездами — размахивая кулаком, Паустовский выкрикивал своим сиплым, астматическим голосом: "У, как я ненавижу эти рубиновые звезды!" — мы много говорили о Бабеле, о Багрицком, о литературе юго-запада, об Одессе, которую он считал едва ли не родным своим городом, хотя, по его словам, он провел там, в общей сложности, не более одиннадцати месяцев, и теперь мне было не очень приятно слышать катаевскую филиппику против человека, которого уже не было среди нас, живых, и который, естественно, не мог уже постоять за себя. Но, с другой стороны, следует ли кривить душой в оценке своего ближнего, тем более писателя, лишь по той причине, что он уже обретается в иных мирах? В общем, я превозмог себя, да к тому же в катаевских словах была и немалая толика правды: Паустовский действительно боготворил Бабеля, и, в конце концов, ему досталась за это неплохая роль — апостола и автора апокрифа, и апокриф этот, "Время больших ожиданий", книга четвертая, оказалась самой читаемой частью из его "Повести о жизни".

Однако, как бы то ни было, не Паустовский создал Бабеля, и едва ли можно отрицать, что Бабель и сам кое-что сделал для собственной славы, и не только как автор гениальной, без преувеличения, "Конармии", но и как первоклассный бытописатель Одессы. Не вызывает сомнения, что "Одесские рассказы" были в значительной мере программной вещью, с

сознательной идеализацией евреев, могучих духом, настолько могучих, что им, этим аристократам Молдаванки, не зазорно было обретаться лишь под дланью Короля, — помните, пристав собрал участок и сказал им речь. "Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля", — но, при всей очевидности идеализации, у любого читателя, и в первую очередь одессита, эти рассказы вызывали ощущение доподлинной правды.

— Валентин Петрович, — сказал я, — Бабель не выдумал какую-то особенную Одессу, просто бабелевская Одесса не приходила в дом к вашему папе. Но это была Одесса, это была хорошая половина Одессы, а другая половина — я хотел добавить, тоже немало идеализированная, особенно по части революционности, в ключе официального партканона — была в вашем "Парусе". В конце концов, школа-то у вас одна: юго-запад.

— Какая школа! — воскликнул Катаев. — Какой юго-запад! Этот путаник Шкловский, для которого самое главное на свете — ярлык, взял у Багрицкого название и прилепил, кому ему захотелось, а теперь все, как попугаи, повторяют за ним: юго-запад! А на самом деле, какой юго-запад: два рассказа у Бабеля, три стихотворения у Багрицкого! Я создал школу: мовизм. Да, это школа, она имеет свои принципы, у меня есть последователи, а юго-запад — это выдумка Шкловского, потому что он теоретик, а теоретик это не теоретик, если не придумает какую-нибудь школу.

— Хорошо, — сказал я, — допустим, Шкловский, как все теоретики от литературы, выдумщик, но откуда это — три стихотворения у Багрицкого, два рассказа у Бабеля! Верно, и Багрицкий, и Бабель оставили не очень много, но в конце двадцатых- начале тридцатых годов Бабель, бесспорно, был одним из самых известных советских писателей. По анкете о советской литературе, которую в 1930 году составил "Новый мир", в большинстве ответов зарубежных писателей на первом месте стояло имя Бабеля.

— Ну и что же, — он сплел свои пальцы, длинные, костлявые, цепкие пальцы мастера, и методично сек ими воздух,

— я же не отрицаю, Бабель был писатель, я недавно перечитывал его, он был даже больше писатель, чем я думал, но я повторяю: никакой школы юго-запада никогда не было. И Бабель не был никакой учитель, никакой мэтр, хотя любил всех поучать. И давайте закончим о Бабеле, мне это неинтересно.

Он сказал правду: ему, действительно, неинтересен был — я думаю, точнее было бы другое слово: неприятен — разговор о Бабеле, который все время оборачивался полемикой, причем не столько полемикой со сторонним оппонентом, в данном случае со мной, сколько с самим собою. Однако в прошлом году, в журнале "Новый мир", он продолжил этот разговор, уже во всеуслышание, своей последней вещью, "Алмазный мой венец", той самой, которая тогда, в феврале семьдесят пятого года, во время нашей последней встречи, выделась ему еще как сырой кусок, который предстояло обработать и наречь именем.

В "Алмазном венце" он объявил Бабелю, точнее, его тени, уже открытый бой, стремясь привлечь на свою сторону миллионы читателей, которым уготовил роль свидетелей публичного посрамления этого автора "флюберовски отточенной", а рядом, в скобках, "я бы даже сказал, вылизанной" прозы, которого в те годы всякие шаржисты и пародисты изображали "в круглых очках местечкового интеллигента, — заметь, читатель: но! — в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки". Местечковость появляется на авансцене и в другом фрагменте, после сообщения о том, что его, Катаева, и Олешу — последний фигурирует здесь под прозвищем "ключик" — Бабель как писателей не признавал, а признавал лишь одного "птицелова" то есть Багрицкого. Следующие слова, однако, настолько красочно живописуют тогдашние взаимоотношения писателей, что было бы просто кощунством дать их в переложении, а не первородным текстом. Вот они, эти слова: "Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном

южно-новороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым". Далее следует историко-литературная параллель — бабелевская манера письма в чем-то сближалась с манерой "штабс-капитана", то есть Зоценко, — и приводится хлесткая эпиграмма: "Под пушек гром, под звоны сабель от Зоценко родился Бабель".

Разумеется, это право писателя — приводить всякие эпиграммы, равно как и представлять своих собратьев под кличками, а не под их именами (так сподручнее, ибо происходит известный психологический эффект отчуждения и высвобождения эмоций, которые в иных условиях загоняются в темные глубины подсознания), у читателя у самого непроизвольно возникают образы коробейника, гудошника, ассоциатора, связанные с автором "Алмазного венца", — однако в данном случае невозможно отделаться от впечатления, признаемся, довольно-таки неприятного, что грязная работа делается чужими руками, на этот раз каких-то мелкопакостных анонимов-ленинградцев, из той среды, которая давно определена весьма корректно и весьма презрительно словом "окололитературная".

Возвращаясь к праву художника писать, как Бог на душу положит, не стесняясь никакими принципами, — а это и есть, собственно, главный принцип мовизма, который призывает к замене связи хронологической, то есть причинно-следственной, связью ассоциативной, — мы вправе были бы ожидать, что автор "Алмазного венца", распространяя на себя те же правила изображения, что и на своих ближних, вспомнит некие, теперь уже далекие времена, когда он, в гимназическом своем отрочестве, ополчался печатным словом, вкуче с лихими легионерами из черной сотни, на ту часть одесских обывателей-инородцев, которые обречены были, то ли по причине недостаточного знания русского языка, то ли по природной своей ментальности, на создание местечкового жаргона, того самого, коему Исаак Бабель, как уверяют нас, и обязан своей славой. Тут в пору бы и задать вопрос: а как же насчет "флоберовски отточенной, вылизанной" прозы? Что, и она

есть не более как эманация этой золотиносной жилы — "местечкового жаргона"? Неужели же потрясающий — и уникальный — по своей глубине и точности психологический анализ "Конармии", который вызвал буквально животный гнев красного палача-рубаки Буденного, не был той главной пружиной, которая забросила Бабея-писателя на много голов выше его самых даровитых современников и определила его подлинно мировую славу!

Тут следует оговориться: ссылка на черносотенные антраша юного Вали Катаева и нынешние реминисценции по поводу местечкового жаргона вовсе не означают намерения обвинить автора "Алмазного венца", кстати, автора и замечательного "Отче наш", в каком-то юдофобстве. Более того, известно, что иные соотечественники его, особенно из числа литераторов, поныне твердят, то шепотком, то в крик, что Катаев-де скрытый еврей, хотя и до "Кладбища в Скулянах", где из мертвых восстают все его предки генералы да попы, только злопыхатели могли заподозрить Катаева в нечистых кровях, а уж нынче надо и вовсе совесть потерять, чтобы нести подобную околесицу, пусть даже жена его, милая Эстер Давидовна, из иудеев, а дочь замужем за Ароном Вергелисом, редактором журнала "Советиш Геймланд", обладателем типичной биографии государственного еврея.

Тем не менее, обращаясь к нашим беседам, я вновь натыкаюсь на чувство, которое могло быть охарактеризовано таким, не очень выразительным, словом, как удивление, когда речь заходила об антисемитизме.

— Слушайте меня, — сплетя пальцы, Катаев захватил ими колено, круто подтянул к себе и, сведя спину в горб, весь подобрался, как для прыжка, — а я вам говорю, никакого антисемитизма до сорокового года не было, а все началось в сороковом году, когда этот бездарный, ну не бездарный, но он же тяжелый, как битюг, Леонид Леонов написал письмо Сталину про еврейское засилье в Союзе писателей. Покойный Иосиф Уткин сам читал это письмо и рассказывал мне. Весь антисемитизм начался с этого письма, а до этого ничего не было.

Я спросил: неужели он всерьез полагает, что Леонид Леонов подсказал Сталину целую политическую линию?

— При чем тут полагаю, не полагаю! Вам говорят, это факт, а не какие-то догадки. Иосиф Уткин сам читал это письмо, ему показал кто-то в ЦК. Вы же знаете, Сталину много не надо было.

Это верно, что Сталину много не надо было, чтобы решить судьбу нескольких тысяч писателей и интеллигентов, ему не надо было много, чтобы решить судьбы целых народов, но свести всю проблему евреев в СССР к письму писателя Леонова, о котором он, к тому же, знал только по слухам, было, по меньшей мере, странно.

Я сказал: стало быть, не будь письма Леонова, не было бы в СССР и антисемитизма? Не было бы, подтвердил он, в России не было бы, а на Украине да, был бы, потому что там всегда был антисемитизм и всегда будет. Но хохлы, — добавил он, — не любят не только евреев, они не любят нас, кацапов, тоже. Они всегда хотели иметь самостийну Украину и всегда будут хотеть.

— Нет, — тут же пояснил он, — не думайте, что я к ним что-то имею. У меня даже есть среди них друзья, Збанацкий, например, очень порядочный, интеллигентный человек, но, в общем, я хорошо помню их, особенно по Харькову, где я жил в двадцать первом году. Надо было находиться тогда там, чтобы понять, что такое украинский национализм. Теперь многие думают, что власти в Москве допускали тогда всякие перегибы, а я вас уверяю: никаких перегибов не было, а была просто нормальная реакция на всякие местные выкрутасы. И вообще, я плохо понимаю их: что, им плохо живется, они не полные хозяева у себя, на Украине? Даже здесь, в Кремле, они составляют, наверное, половину правительства.

Этот перескок его от евреев к украинцам, хотя и неожиданный, — однако вполне мотивированный по ассоциативной теории мовизма! — нисколько не удивил меня, как не удивила и, в сущности, железно правоверная, партийная его позиция. В шестьдесят девятом году, когда, в связи со 175-летием Одессы, местные писатели Трусов, Лясковский, Усыченко,

заручившись поддержкой тогдашнего секретаря обкома, члена ЦК партии Синицы, затеяли буквально средневековый шабаш, требуя сноса знаменитого памятника Ришелье, у Потемкинской лестницы, взамен которого следовало установить памятник Суворову, и переименования улицы Дерибасовской в Суворовскую, на том основании, что, дескать, знаменитый русский генерал — вопреки хрестоматийным фактам истории! — являлся истинным основателем Одессы (в скобках заметим, где он никогда не был), я обратился к Симонову, автору поэмы о Суворове, военному корреспонденту в Одессе в сорок первом году, и Катаеву с просьбой поднять свой голос против новой волны мракобесной кампании по борьбе с космополитизмом. Симонов тотчас согласился, с условием, однако, что я привлеку к этому видных ученых из института истории Академии наук СССР, а Катаев отказался наотрез. При этом он вспомнил, что в четырнадцатом году, когда началась война с кайзером, Малую Арнаутскую переименовали в Суворовскую, а затем после Октябрьской революции, в угаре безоглядного отрицания своего прошлого, название упразднили.

И вообще, — это были слова, сказанные, что называется, под занавес, — пусть лучше Суворов, чем кто-нибудь другой, считается основателем Одессы.

Признаюсь, я был потрясен. Мне и в голову не приходило, что столичный мастер, один из лучших прозаиков России, запросто, через душевные кульбиты свои в заповедных сферах отечественной истории, побратается с квасными патриотами из презренной провинции!

В феврале семьдесят пятого года он получил от правительства Золотую звезду и был объявлен Героем социалистического труда. В те же дни во Дворце съездов происходило совещание творческих работников, на котором присутствовало высшее руководство партии. Вечером по телевидению показывали репортаж об этом совещании.

Мы сидели в гостинной, в переделкинском его доме, внезапно, когда на экране появились правительственные ложи, он заерзал в своем кресле, засуетился, протянул руку в сторону

телевизора и закричал: "Смотрите, смотрите, вот Суслов, а сейчас, рядом, буду я!" Увы, телеоператоры сыграли, разумеется, невольно, с ним злую шутку — а впрочем, операторы ли: над ними есть еще редакторы, они-то знают, чего показывать! — кадр продержался еще несколько секунд на экране, подвигаясь вправо, так что, казалось, еще мгновение, и явятся миру заветные миллиметры, однако все не являлись, и тогда он вскочил, подбежал к телевизору, приложил к ящику, слева, ладонь и сказал: "Вот здесь сидел я, а Суслов рядом, немножко правее, если смотреть отсюда".

То обстоятельство, что он сидел рядом с Сусловым, естественно, не было случайным. В кремлевской табели о рангах, особенно, когда дело касается распределения мест в правительственной ложе, случайностей не бывает. Второй секретарь ЦК Суслов уже давно сделался его добрым гением, об этом по Москве шел упорный слух, и Лев Славин, который, ссылаясь на самого протезе, рассказывал об этом, уподобился тому вестнику, который, начав свой путь к падишаху юношей, прибежал к нему с бородой.

Надо отдать ему должное, он быстро оправился от конфуза, вызванного промашкой телевизионщиков, и тут же с удовольствием стал вспоминать буфет, в который он, как заседавший в правительственной ложе, получил доступ. Это был богатый буфет, мало сказать, это был роскошный буфет, в котором столы буквально чернели, буквально червонели от черной и красной икры, и с этими королевскими колерами могли соперничать лишь перламутровые инкрустации из нежнейших срезов белуги, осетрины, семги. И самое главное, все это было даром.

— Понимаете, — объяснял он со вкусом, — вы заходите, берете все, что хотите, и ни копейки не платите. Конечно, это было только для нас, из правительственной ложи. А они, — он повел рукой в сторону своего сына Павла, тоже писателя, члена СП, — имели с о й буфет, неплохой, но они должны были платить.

Павел возмутился: что за пошлость, почему одни должны платить, а другим на даровщинку! Платить — так всем пла-

тить, даром — так всем даром! Катаев-старший поморщился: перестань болтать.

Увы, он не был вполне последователен: недавно, вспоминая о своем покойном друге Олеше, он рассуждал немного по-другому:

— Это все — болтовня, что кто-то мучил Олешу. Он сам себя мучил всю жизнь. Даже то, что он потерял во время войны свою квартиру в Москве, тоже его вина. Все эвакуированные писатели аккуратно присылали в жилотдел свою квартплату, а Олеша считал, что для него не обязательно. Квартплата — это же у нас гроши, пятнадцать-двадцать рублей на новые деньги. Но на бутылку водки он еще мог найти трешку, а на квартиру нет. Не надо выдумывать какую-то трагедию, не было никакой трагедии, была просто безалаберность. Когда писатель перестает писать, ему легче считать, что кто-то виноват, чем винить самого себя. Олеша имел то, что хотел иметь, и я от него никогда не скрывал. Ему это не нравилось.

Примечательная деталь: это четкое и в высшей степени властное чувство иерархии, с безусловным признанием ее полнейшей законности, даже в житейских мелочах, проступает чуть не во всех его последних вещах. И везде, не исключая и "Травы забвения", где он вроде бы лишь в чину учимых есть, а учителем Иван Бунин, некое странное коловращение неизменно приводит к одному и тому же результату: он, Катаев, обязательно оказывается мощным светилом, вокруг которого вершат свой путь все планеты, и хотя светят они по-разному, одни тускло, другие поярче, но в любом случае свет их не собственный, а отраженный. Даже история с Золотой звездой героя оказалась, по его версии, из того же ряда. Дело в том, что, кроме него, Золотые звезды, по единственному указу, получили еще тринадцать других литераторов. Однако для них, тринадцати, это была лишь счастливая случайность, потому что героя правительство поначалу полагало дать одному ему, Катаеву, но потом почему-то застеснялось, и тогда Подгорный вписал в Указ еще тринадцать, включая всяких там Симоновых, Полевых, Гамзатовых, которые, в простоте

своей, и не ведали, кому обязаны этим, неожиданно обрушившимся на них золотым дождем.

Золотая звезда, без сомнения, сказалась благотворно на его настроении и, пожалуй, даже на его характере. Он стал менее ершистым, менее язвительным и, главное, стал много тверже в своем чувстве верноподданничества. Приводя разные выкладки по части гонораров и тиражей, он доказывал, что никто в мире не платит так хорошо писателям, как наша советская власть. Я отвечал ему, что не знаю, как платят на Западе, но по докладу Сергея Наровчатова, который был тогда партийным секретарем московской писательской организации, средний заработок столичного поэта не достигает ста рублей в месяц. Ну и что же, возражал он, а во Франции или Америке они бы и этого не имели. И вообще, для писателей и поэтов советская власть — золотая власть.

Я не стал уточнять, что именно имелось в виду под эпитетом "золотая", думаю, все же, что речь шла, если не исключительно, то, по крайней мере, главным образом, о гонорарной практике, а не о других, политических и духовных, аспектах.

Впрочем, по работам последних лет создавалось впечатление, что он не просто избегает политических и социальных проблем, вне которых немислим сегодня в СССР ни один большой писатель, но действительно утратил к ним интерес. В прежних своих вещах послевоенного времени — "Хуторок в степи", "За власть Советов" — он норовил окунуться в самую гущу социальной жизни и делал это не хуже, чем, скажем, автор какой-нибудь "Молодой гвардии" или романа о революционной Сибири в канун Октября. Однако его Я все решительнее и властнее захватывало во всех его писаниях центральное место и подчиняло себе все повествование, хотя, по-прежнему, свой политический нюх он пестовал с величайшим тщанием: "Каждый день я читаю только "Правду", ее передовую, на остальное у меня нет времени, и мне неинтересно".

Логическим завершением этого процесса явился "Алмазный мой венец". Любопытная деталь — здесь, исключая

вскользь упомянутых Славина и Тихонова*, не представлен ни один из ныне здравствующих писателей. Случайность, злокозненная игра воображения, подвластного лишь стихии ассоциативных связей? Едва ли. Ведь тот же, скажем, Солженицын не дает ему покоя, и в разговорах не раз и не два он возвращался к нему. "У него же плохой русский язык. И композиция рыхлая, все чуть держится. Вы думаете, на Западе не понимают? Прекрасно понимают: Солженицын — посредственный писатель. Но им нужна сенсация. Он вообще выехал на сенсации. Если бы там, наверху, в свое время его немножко пригрели, вообще не было бы никакого гения Солженицына. Но настоящие гении у нас есть. Жора Владимов. "Три минуты молчания" — это гениальная вещь". Гениальная вещь, на его взгляд, и "Тихий Дон". В связи с последними слухами о том, что Шолохов будто бы не автор "Тихого Дона", он сказал, что эти слухи шли еще в тридцатых годах, и он не знает, правда это или неправда, но что четвертую книгу наверняка написал Шолохов, никто не сомневается, а этого тоже достаточно. И Нобелевскую премию он-таки заслужил больше, чем те, которые получили до него и после него. До него и после него — это двое: Пастернак и Солженицын.

Про себя он некогда говорил: "Раньше я писал хорошо, потом плохо, теперь опять хорошо". Во время последней нашей встречи я вспомнил эти слова. Он тут же, с какой-то помесью удивления и негодования, отрезал: "Я никогда этого не говорил. Я всегда писал хорошо".

И все же, при всем недюжинном самомнении, беспрестанно одолевает его потребность еще раз утвердить себя, еще раз взять реванш у тех, что давно уже обретаются в мире теней, но поскольку мовизм — тот же, по сути, давно открытый на Западе "поток сознания", только заметно обедненный и покореженный, — позволяет подменять связи причинно-следственные ассоциативными, он реставрирует прошлое, подобно тому, как это делается у Орвелла в его "1984", подобно тому, как делают это повседневно советская идеология и советская историография, и герои "Алмазного венца" — ключик (Оле-

* Н. Тихонов скончался в 1979 г.

ша), щелкунчик (Мандельштам), конармеец (Бабель), королевич (Есенин), синеглазый (Булгаков), мулат (Пастернак), и прочая, и прочая, практически все, за исключением Командора (Маяковского), — вышли кривобокие, с тыквенными головами, с лисьими рожами, с эдакой марионеточной походочкой ублюдков и недоносков, среди которых возвышается грандиозная фигура Патриарха в молодости, которого Бог одарил долгими годами, а "рука сильной и доброй власти", как окрестил ее Патриарх на девятом своем десятке, которая сама решала, сколько какому писателю-поэту жить годов, не скупясь подавала ему от барских щедрот.

В одном месте, цитируя мулата, — поэта, кстати, по давнему еще его открытию, насквозь вторичного! — он делает признание, что боится впасть в ересь неслыханной простоты.

А вот впасть в простоту неслыханной ереси — этого не убоюсь.

ЛЕВ ЛАРСКИЙ
МЕМОУАРЫ
РОТНОГО ПРИДУРКА
(иллюстрации и оформление автора)

В ближайшее время выходит отдельной книгой в издательстве "Время и мы"

Книга выходит в пяти частях:

1. Взвейтесь, кастраты
2. Солдатская совесть
3. Саперная одиссея
4. Боец невидимого фронта
5. Бледная спирохета —
оружие врага

При предварительном заказе в редакции цена в Израиле — 72 лиры, за границей — 4. 50 доллара (в цену входит стоимость доставки и НДС).

Заказы и чеки высылать по адресу: Тель-Авив, Нахмани 62, редакция "Время и мы".



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Страницы из книги воспоминаний "УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ", посвященной памяти Ивана Брыксина, Гумера Измайлова, Евгения Тимофеева и всех покойных друзей и товарищей тюремных лет.

Спецтюрьма №16 и объект №8 ("Марфинская шарашка") в годы 1947—1953 размещалась в здании бывшего приюта для сирот "духовного звания" в бывшей церкви "Божья мать", утоли мои печали".

Лев КОПЕЛЕВ

СОЛЖЕНИЦЫН НА ШАРАШКЕ

I.

...Когда Панина вызвали с вещами, мы простились — как обычно прощаются в тюрьмах — навсегда. Швейк назначал свидание "в шесть часов вечера после войны". А мы: "в шесть часов вечера после тюрьмы".

Но встретились две недели спустя.

Нас вывезли из Бутырок. Ехали не больше сорока-пятидесяти минут. Значит, в черте города.

Выгрузились в большом дворе-саду. Темные ели, густая темно-серая пряжа голых деревьев и кустов. Ограды не видно. Только угадывается под шеренгой ярких фонарей.

Трехэтажное кирпичное здание старой постройки. На торце — башня с куполом. Ярко освещенный подъезд. Принимают охранники в обмундировании МВД, неторопливые, спокойные. Ни лающих окриков лагерных вертухаев, ни хриплого, угрозного шепота тюремных надзирателей.

— Проходите на третий этаж. Там все объяснят.

Лестница, как в парадном старого жилого дома или гимназии, — каменные ступени, перила на кованых стойках...

Вниз, навстречу, шел синеглазый витязь, темно-русый, с короткой бородкой. Старый ватник внакидку на нем казался гусарским ментиком — Дмитрий Панин.

— Это Марфинская шарашка. Называется "объект № 8 или спецтюрьма № 16". Все оборудование из демонтированных берлинских радиолaborаторий фирмы Филипс. Здесь разрабатывают "полицейское радио"*.

Мы тебя ждем уже неделю. Начальник такой, что можно по-человечески разговаривать. Молодой капитан. Ленивый, не злой. Мы его убедили вытребовать из Бутырок тебя — известного лингвиста и опытного переводчика со всех языков. А то здесь в подвале тысячи папок технической документации, патенты, описания, и никто не понимает немецкой писанины... Вот мы на это и нажимали... Кто "мы"? Я и мой друг. Сейчас познакомлю. Замечательный человек! Александр Исаевич Солженицын. Тоже фронтовик. Капитан. Умница. Благороднейшая душа. Личность! Он заведует технической библиотекой. Уверен, что и ты его полюбишь. Он помог мне уговорить начальника...

Большой полукруглый зал, образованный из нижней части церкви**. В левой половине несколько письменных столов и кульманов. Вся правая — библиотека, стеллажи и шкафы с книгами, большой стол заведующего.

Он встал нам навстречу. Высокий, худой, в застиранной армейской гимнастерке. Пристальные светло-синие глаза. Большой лоб. Над переносицей резкие лучики морщин. Одна неровная — шрам.

Рукопожатие крепкое. Улыбка быстрая.

— Здравствуйте. Митя про вас говорил много хорошего. Ваш рабочий стол уже готов. Вот здесь. Будем соседями. На машинке печатаете? Ну, быстрота пока и не требуется.

*Те радио-телефоны "уоки-токи", которыми сейчас пользуются постовые милиционеры, оперативные машины, шофера такси, филеры и др.

** Позднее, когда значительно расширили все здание шарашки, в этом зале устроили камеру, описанную в романе "В круге первом".

Советую: начинайте переводить, и сразу на машинку. Будет тренировка... Где воевали?.. Вот как...

Взгляд еще пристальнее и словно затемнился.

(Позднее он говорил: "Я тебе в первую минуту не поверил. Даже подозрительным показалось. Те же самые фронты".)

— Я тоже был на Северо-Западном.

Он рассказал, что его батарея стояла у Молвотиц. Мы вспомнили дорогу, лесок, начиненный минами, где несколько раз подрывались наши солдаты. Потом его перебросили на Курскую дугу. А на II-ом Белорусском он бывал в тех же местах, где и я. Над Наревом холм и непонятно как уцелевший домик на самой линии огня. Он слышал, как мы по звуковке агитировали немцев. И слышал именно мой голос. В тот день два больших немецких танка разъезжали по опушке леса и стреляли по нас бронебойными болванками. Они омерзительно зудели и выли, хотя опасны были только при прямом попадании. И это он корректировал огонь батареи, отогнавшей танки.

— А в Пруссию вы откуда входили? Точно! И я там же... Нет, когда мы шли в Грос Козляу еще ничего не горело. Значит, вы двигались позже... Вот как? И вы искали могилу Гинденбурга? Ну и совпадения!* Погодите, погодите, вы какого числа были в Хохенштейне? Нет, когда мы свернули с шоссе, кажется, шинных следов там не было... А вы заметили следы?.. Правильно, какое там "вы" у вчерашних солдат. — Значит, ты по моему следу ехал. Вот так судьба сводит.

Мы начали вспоминать охранников, следователей...

— Погоди. Об этом еще успеем. Прогулки у нас долгие. Вечером почти два часа можно бродить по двору. А сейчас подумай, что тебе для работы нужно. Какие словари, справочники; я подберу — оформлю. И завтра с утра можешь начинать. Тут тебе подготовлена папка — описания приборов,

* Четверть века спустя он подарил мне книгу "Август четырнадцатого" с такой надписью: "Другу моему Левушке Копелеву, одному из двух советских офицеров в Восточной Пруссии, кто в сорок пятом году знал о Танненбергском памятнике, искал его и к нему прорвался через запреты, "мины".

главным образом, немецкие. Я пытался сам переводить, но трудно. И в школе, и в университете нас учили совсем другому немецкому языку... Газеты? Разумеется, есть. "Правда", "Известия", "Красная звезда". Могу дать и подшивку. Но читать только здесь. Из библиотеки не выносить. За какое время хочешь? За всю осень? Изволь.

Позднее он говорил:

— Ты был первым, кто попросил подшивку. Первым после меня. Когда нас привезли из Ногинска — сначала там собирались устраивать шарашку, но потом сюда перевезли, — я сразу же взялся за подшивки. Надо ж такое: на тех же самых фронтах были, та же контрразведка замела. И такой же аппетит на газеты. Это уже вроде родства.

* * *

В ту первую зиму шарашки (1947—1948) — арестанты размещались в двух комнатах на третьем этаже. Там же была дежурка, комната санчасти, кабинет начальника тюрьмы. Короткая лестница вела в кладовую под куполом. На сводчатом потолке еще шелушились бледные краски: небесная синева, лики и ризы, крылья ангелов, обрывки славянской вязи. Под ними дощатые стеллажи с ящиками и тюками.

Во втором этаже основные лаборатории, в первом — столовая и мастерские.

Шарашка занимала треть большого здания. Остальная часть была отделена дощатыми стенками, обшитыми железными листами, а во дворе высоким забором. Там строили, перестраивали, достраивали заключенные "бытовики" из ближнего лагеря.

Рабочий день начинался в восемь утра и длился официально до шести вечера. Гуляли мы утром — до и после завтрака, днем — в обеденный перерыв, а вечером — до проверки. Рабочее время разрешалось продлевать и до полуночи. Начальниками всех лабораторий были заключенные. Они подавали дежурному надзирателю списки тех, кто оставался работать после ужина.

Вечерняя поверка проводилась просто — дежурный заходил или только заглядывал в рабочую комнату:

— Сколько вас тут? Все на месте? В уборную никто не пошел? Давайте не позже двенадцати в камеру. И чтоб точно...

Свидания с родными полагались каждые три месяца. Можно было получать любое количество писем, бандеролей, посылок. Но отправлять письма разрешалось только иногородним. Тюремный завхоз, он же почтальон и каптер, хлопотанный толстомордый лейтенант объяснил: раз москвичи могут иметь свидания и еще трижды в месяц получать передачи, то переписываться им не положено.

— Ждите, как будет свиданка. Там все объясните.

Солженицын посоветовал:

— А ты попроси начальника тюрьмы. Подполковник Г., сразу видать, не из вертухаев. Строевик, военная косточка. Любит выправку, и чтоб смотрел ему прямо в глаза. Не терпит слабаков, подхалимов и если кто темнит. Но так — не вредный. Ты подойди, как следует по уставу. Авось, поможет.

В лагерях мы научились безошибочно отличать хорошее начальство от плохого: один запрещает все, на что нет особого разрешения; другой разрешает все, на что нет особого запрета.

Тщательно побрившись, я заправил гимнастерку, чтоб спереди ни морщинки, начистил сапоги и пуговицы. В дверь кабинета постучал коротко, но четко, без робости.

— Да...

Войдя, отпечатал три шага, пристукнул каблуком, застыл "по стойке".

— Разрешите обратиться?

Подполковник сидел у стола; обернулся. Сухощавый, но плечистый; короткая стрижка с проседью.

— Какое звание имели?.. Где воевали?.. Статья?.. Срок?.. Что имеете сказать?

— Прошу разрешения известить семью, проживающую в Москве, чтоб написали и принесли передачу. Прошу разрешить в порядке исключения. Свидание получу не раньше весны, а там дочка болеет. Тревожусь. И передача нужна. Хворал. Истощен.

— Кто у вас в семье?.. Напишите открытку, чтоб принесли письма и передачу в Бутырки для восьмого объекта. Поторопитесь: я через полчаса ухожу. Ясно?

— Так точно. Написать открытку. Вручить вам. Разрешите исполнять?

Когда я рассказал Панину и Солженицыну об этом успехе, мы порассуждали о преимуществах воинского, уставного поведения. Точно предписанные, стандартные жесты и слова, хотя и выражают зависимость, подчинение, послушание, но все же позволяют сохранять человеческое достоинство. Я вспоминал, что и на фронте подчеркнутая уставная подтянутость была едва ли не единственной возможной, и уж во всяком случае наименее опасной, формой противостояния начальственному хамству. Поручик царской и майор Красной армии, Анатолий Гаврилович Воинов, поучал нас, новичков: "Недовольство начальством можно выражать только безмолвно, по стойке "смирно", шевелением большого пальца ноги. Разумеется, в обутом состоянии".

* * *

Передач мы ждали с нетерпением. Но получать их начали только в январе. Шарашечные харчи в первые после тюремных дни казались роскошными. За завтраком можно было даже выпросить добавку пшенной каши. В обеденном супе, — именно супе, а не баланде, — попадались кусочки настоящего мяса. И обязательно давалось третье блюдо — кисель. Но все эти яства, такие прельстительные, не слишком насыщали. Нам все время хотелось есть. Хлеба — 500 грамм в сутки — не хватало.

Новый 1948 год мы встречали на койке Панина, на втором этаже "вагонки", сваренной из обыкновенных железных кроватей.

Один из сокамерников, получавших передачи, подарил нам четверть банки сгущенного какао. С завтрака мы оставили сахар, с ужина немного хлеба. И набрали два котелка кипятку.

Дежурный администратор в тот вечер был снисходителен: — Сам знаю — Новый год. Но порядок должен быть. После отбоя — тишина. Другие зека спать хочут. Так что вы аккуратнее, чтоб никакого шума. Если наружу слышать будет или кто пожалится — и с меня шкуру снимут, и вас накажут. Начнете новый год в карцере...

Но в ту ночь и в других местах камеры сбивались кучки встречавших. Все пировали при тусклом свете ночников. Почти у каждой койки были пристроены лампочки-ночники, сработанные нашими техниками. Было и много самодельных радиоточек, которые почти каждую ночь досаждали Солженицыну. Он с трудом засыпал, и жужжание наушников, забытых сонливыми радиослушателями, его раздражало, выводило из себя. Он соскакивал со второго этажа вагонки, разыскивал, отключал... В новогодних куплетах, которые я сочинил, были такие строки:

**Тиха шарашечная ночь,
В решетках темных звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Вертух не может. Кто ж зловеще,
Надрывно хрипло матерится,
В кальсонах по вагонкам рыщет?
То гневный Саня Солженицын
Наушник неutihший ищет...**

Панин торжественно поднял кружку душистого какао:

— Господа, я не умею говорить речи, я не златоуст, как вы оба. Но я старше вас, раньше начал крестный путь. Поэтому позвольте мне провозгласить новогоднюю здравицу... Дорогие друзья! Я верю, что могу вас так называть, — мы трезво встречаем Новый год, и я хочу высказать трезвое пожелание. Принято говорить: "С Новым годом, с новым счастьем!" Но какое у нас может быть счастье? Мы все мечтаем о свободе... Но это несбыточная мечта в этих стенах, в этой стране... И я поднимаю трезвую заздравную чашу за возможное. Я пью за то, чтоб в Новом году нам не пришлось голодать... И за нашу дружбу, господа...

Мы, трое, прожили вместе еще два с половиной года. До лета 1950. И не голодали. И дружили.

* * *

По утрам раньше всех поднимался Митя Панин. Он еще до подъема спешил сделать зарядку и шел на задний двор, где у выхода из кухни пилил и рубил дрова. "Подавляя плоть", он и в жесточайшие морозы гулял без шапки, ватник внакидку, рубашка распахнута на груди по-моряцки. А весной, едва сходил снег, он на прогулке разувался и вышагивал босиком, стараясь ступать по самым неудобным тропам, по щебню, угольной крошке. Утром он иногда вытаскивал на "дровяную зарядку" Солженицына и меня. Надзиратели поощряли такое прилежание. Они должны были наблюдать за нами, а это приближало их к кухне, к щедротам поваров, которым помогали арестанты, алчущие работы на воздухе.

По утрам мы и работали, и гуляли обычно молча. Тюремные пробуждения невеселы. После добрых снов о воле, о родных тем злее пробирает явь. Не легче бывало и после кошмаров или после тягостных бессонниц, заполненных неотвязными до отчаяния мыслями, удушливой тоской одиночества среди множества чужих людей, притиснутых друг к другу, сопящих, храпящих, стонущих, или дико вскрикивающих со сна...

В часы обеденных прогулок, самых многолюдных и шумных, труднее было разговаривать вдвоем, втроем. Зато по вечерам гулявших было меньше, особенно в плохую погоду. Многие оставались в доме. Кто стирал в умывалке носки, портянки, носовые платки, кто играл в козла, в шахматы, в шашки, кто судачил в задымленном коридоре, кто просто валялся на койке.

Мы, трое, обычно записывались на вечернюю работу. Но до проверки старались гулять возможно дольше.

Иногда возникала неодолимая потребность в одиночестве. Другим можно было сказать: "сегодня хочу гулять один", и двое старались охранять одного. Зимой это удавалось легче. Мы прокопали тропу в снегу, между кустами.

Чаще других просил об одиночестве Солженицын. Он шагал по нашей тропе в длинной шинели, опустив наушники

армейской шапки. А мы с Паниным "патрулировали" у выхода на главную площадку двора, для которой шарашечные остряки придумывали звучные названия: "Площадь растоптанных надежд", "Треподром", "Ишачий манеж" и т.п.

На своей тропе мы вели долгие разговоры — о судьбах России и Европы, о религии, философии, истории, литературе.

В один из первых дней Солженицын спросил:

— ...Ты мог бы мне последовательно рассказать об истории революционного движения в России? Ну, это понятно, что всего нельзя помнить. Но мне важна общая последовательность, связь событий, характеристики людей. Главное — чтоб без брехни, без замалчивания, а насколько можешь — объективно, беспристрастно. Ты, конечно, пристрастен. Ты — марксист-ленинец и значит должен мыслить партийно. Но зная это, я могу делать соответствующую поправку. А ты рассказывай, выкладывай все, что помнишь. Только не агитируй и ничего не зажимай. Излагай и другие версии, другие точки зрения. И не мешай мне самому судить, выбирать. Не дави на мозги.

Перепатетические семинары по истории часто сопровождали ссоры и перебранки. Панин уверял, что большевики — орудия Сатаны, революцию в России устроили злонамеренные иноземцы и инородцы, а спасти нас может только чудо, вмешательство свыше. Но готовить спасение надо самим, очищая душу, мысли и... язык. С этой целью он решительно отказывался употреблять иностранные — он их называл "птичьи" — слова. Революции называл "большевичками", инженеров — "зиждителями". Наставления по кузнечному делу он ухитрялся писать пользуясь только своим "языком предельной ясности". Например, слово "металл" заменял точным названием: железо, чугун, медь, а вместо иностранного "сталь", писал: "железо без углерода, очищенное от углерода" и т.п.

Исключения он допускал только для "священных понятий": церковь, религия, архиепископ, дьякон. И очень рассердился, услышав, что церковно-славянский язык возник из древнеболгарского.

— Не может этого быть! Да ведь болгары — это турки!

Обыкновенные турки, лопочущие на испорченном славянском наречии. И что наши предки заимствовали у них язык? Не верю! Этого не может быть! Это большевистские выдумки!

В таких перепалках мы с Солженицыным бывали союзниками.

Но моим диалектико-материалистическим рассуждениям об истории он противопоставлял упрямое недоверие и называл себя скептиком, последователем Пиррона. Уже тогда он ненавидел Сталина — "пахана", и начал сомневаться в Ленине. Снова и снова настойчиво спрашивал, как я могу доказать, что если б Ленин остался жив, то не было бы ни раскулачивания, ни насильственной коллективизации, ни голода, ни тридцать седьмого года...

Я же думал, что все эти страшные события происходили вследствие "объективных" — трагических, роковых обстоятельств. Но сознавал, что среди предпосылок трагедий были некоторые особенности именно сталинской политики. В его гениальности я не сомневался, но считал, что он гений "векторный", то есть однонаправленный, устремленный каждый раз только к одной цели. Это и приводило к неизбежным просчетам, к роковым ошибкам. Зато в Ленине я видел гения "радиального", то есть разностороннего и старался доказывать, что если б он прожил дольше, то мы построили бы социализм значительно менее дорогой ценой.

Он возражал:

— Это пустые выдумки. Ты обвиняешь Митю в схематизме, а сам придумал совершенно искусственную схему. Почему ж это пахан у тебя вектор без радиусов? Он и по национальному вопросу писал. И в литературе "лучшего, талантливейшего поэта" назначил. И открыл "штуку, посильней, чем "Фауст"... Он и в музыке, и в биологии порядок навел. "Корифей всех наук..." Почему же только вектор? Нет, ты недооцениваешь. Нэ харашо, дарагой кацо, нэ харашо! За такую недооценку десятого пункта мало, это уже диверсией пахнет!

Довольно долго я оставался неисправимым "красным империалистом". В моем сознании вызрел весьма типичный

для той поры симбиоз советского патриотизма и русского национализма. И едва ли не главным доказательством гениальности Сталина служили мне завоевания. Благодаря ему, мы вернули все, что утратили от прежней великой России, и еще добавили. От Эльбы до Китайских морей распахнулись. Это — реальные победы, а победителей не судят.

Солженицын возражал, что в какой-то книге воспоминаний о семнадцатом годе прочел описание солдатского митинга. Пожилой солдат-фронтовик перебил оратора, кричавшего, что России необходимы проливы, выход в Северное море: "А на х... нам те моря! Что мы их пахать будем?!"

Моим великодержавным сталинистским восторгам он противопоставлял мужицкую правду. Не верил, что завоевания нужны России, не верил, что Сталин заботится о народе — Ленин, Бухарин, может, еще и думали об этом, а Троцкому, Зиновьеву, Сталину, Молотову, Кагановичу — им один хрен, что Россия, что Германия, что Китай. Для них главное — их теории, победа марксизма-ленинизма в мировых масштабах. Ради этого все средства хороши, все сгодится, что выгодно. Можно и Ивана Грозного славить, и молебны служить, и русские приоритеты выдумывать, но цель все та же — мировая революция.

В суждениях о конкретных событиях, об исторических деятелях, когда оценивали — что хорошо, что плохо, — у нас почти не было разногласий. Но когда я говорил о неизбежности, об исторической детерминированности революции, гражданской войны, террора, коллективизации — он упирался:

— А кто ее доказал, эту историческую необходимость? А что, если б Корнилов одолел трепача Керенского? Если бы красновские казаки разогнали съезд советов, расстреляли Ленина и Троцкого? Ведь такая возможность была. Значит, получилась бы другая историческая необходимость?.. А почему это нельзя применять к истории сослагательное наклонение? Кто запретил? Ведь Александра II могли и не убить? И тогда вся внутренняя политика пошла бы по-другому. А если бы Распутина убрали раньше?.. Ты все талдычишь про объективные условия, социально-экономические предпо-

сылки. Эти объяснения историки придумывают задним числом. Доказывают, что было бы именно так, потому что не могло быть иначе...

В юности он и сам верил основным положениям марксизма, а потом стал все больше сомневаться. Потому что не может верить историческим анализам тех, чьи прогнозы ошибочны. Ведь даже самые великие — Маркс и Ленин — ошибались во всех предсказаниях. А уж Сталин и подавно: в 1930 году объявил мировой кризис последним кризисом капитализма, потом придумал "особого рода депрессию", а в 1941 году обещал победу "через полгода, через год..."

Мы спорили, топчась по снегу, шепотом, чтоб не услышали другие гуляющие, сквернослова и матерясь, чтобы "колорит" беседы не отличался от обычной зековской трепни. Я пытался убеждать его, приводил примеры сбывшихся марксистских прогнозов. Он возражал, что это исключения, которые подтверждают правило. Вроде метеосводок: врут, врут, а вдруг и угадают — то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет... Ах, по-твоему диагнозы и прогнозы нельзя сравнивать? Тогда почему же вы называете это наукой? В физике, в химии, в биологии закон потому и закон, что повторяется в будущем. Закон Архимеда и Гей-Люссака годится и для диагноза и для прогноза. Вот когда ты мне об языке рассказываешь, о лингвистических закономерностях, я тебе верю. А тут — нет, нет. Ты пленник своих догматов. А я вижу, сколько брехни из них вывели...

* * *

В самом укромном углу библиотеки, за стеллажами у нас было вечернее убежище. Там, на электрической плитке, мы жарили картошку на сале, распивали крепчайший чай и толковали о всякой всячине, избегая громких споров. Потому что в другой части комнаты бывали разные люди.

Вечерние беседы у "камина" чаще всего ограничивались мирными воспоминаниями и размышлениями вслух о литературе, о живописи, о музыке... Снова и снова повторялись и

варьировались разговоры о том, почему именно каждый любит или не любит то или иное стихотворение, роман, симфонию... Солженицын говорил, что все в конечном счете может быть объяснено. Для этого необходима только достаточно сильная и опытная мысль. Он рассказывал, что его жена Наташа объясняла ему и Шопена, и Бетховена. И, конечно же, объясняла правильно, потому что она не только музыкантша — учится в консерватории, — но еще и научный работник — химик, аспирант.

...Панин сосредоточенно вечерами, безмолвствуя у своего кульмана, размышлял о новых способахковки, либо подбирал слова для "языка предельной ясности". Однажды он сказал, что решил признать диалектику Гегеля, которую именовал "учением о противоречиях". Решил неожиданно, так же, как раньше, в лагере, когда внезапно "признал" Маяковского.

— Он по всем ухваткам был вроде нарядчика из блатных или бытовиков, — этакий нарядило-горлохват. Но стихотворец могучий. Я это понял, услышав, как читал один артист. Могучие, вдохновенные стихи. Притворялся безбожником, богоборцем. Но слова-то у него из Священного писания — и слова, и страсти...

Солженицын постоянно читал словарь Даля, делал выписки в маленьких самодельных тетрадках, либо на листках, которые потом сшивал. Низал крохотные буквочки-икринки, сокращал слова, иные заменял математическими или стенографическими значками. Тогда он изучал стенографию по самоучителю. Но читал и книги по философии, истории и "Войну и мир". Том из старого собрания сочинений Л. Толстого был его собственностью; текст и поля испещрены пометками. Некоторые показались мне кощунственными. У Толстого он посмел находить огрехи языка и стиля: "неудачно", "неуклюже", "галлицизм", "излишние слова"...

— А ты не пугай меня авторитетами. Я так думаю. И это я писал для себя. Ведь ты же сам говорил, что язык живет и, значит, изменяется, развивается, что язык Пушкина иной, чем Державина, и мы не можем, не в силах — как бы ни старались

— удержать развитие языка, сохранить его неизменным. Вот и язык Толстого устарел.

Среди книг, хранимых Солженицыным в особом тайнике, мне более других полюбился один большой том, в котором были переплетены вместе несколько работ по философии древнего Востока.

Нас поражала необычайная злободневность печально-добрых мыслей Лао-Дзы:

"Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Благородный побеждает неохотно. Он не может радоваться тому, что убивает людей". "Чем больше запретов и ограничений, тем беднее народ. Чем больше законов и предписаний, тем больше воров и разбойников".

Лао-Дзы, за полтысячелетия до Христа, призывал: "Воздавайте за вражду благодеяниями".

Конфуций возражал на это (примерно столетие спустя): "А чем тогда воздашь за добро? Справедливостью плати за несправедливость, но добром плати за добро... Не причиняй другому того, чего ты не хотел бы, чтобы причинили тебе".

Великие китайцы предвосхитили основы христианской нравственности и категорический императив Канта. Так они подтверждали мои представления об единстве человеческого рода. Представления, возникшие в пионерском детстве, в пору эсперантистских фантазий.

Панин возражал:

— Все это — пустые ереси. Не нужны мне никакие китайцы. Откровения истинной веры воспринимаются сердцем, а не рассудком. Вот когда речь идет о вещественных предметах, о величинах исчислимых, измеримых, о задачах зиждительских, научных, тогда, напротив, должно доверять только разуму. А постижение Бога и сознание своей народности доступно лишь тому высокому духовному восприятию, которое выше всех умов. Сия тайна велика есть. Так что нечего и болтать. Вот когда прочтешь замечательную книгу "Догматическое Православие", тогда и поймешь, что это значит. И не надейся подавить меня своей ученостью. В отличие от истинных наук, исследующих действительные природные вещи и при-

родные силы, в отличие от наук числа и меры, все твои словесные науки — суета сует. Это про них сказано: "расколы и ереси наук суть дети".

Солженицын посмеивался над его истовостью. Он тоже конспектировал Лао-Дзы и Конфуция, но мои рассуждения о единстве человеческого рода воспринимал недоверчиво, а иногда и неприязненно, говорил, что интернационализм так же несостоятелен, утопичен, наивен, как и мечтания первых христиан: "несть эллина, несть иудея". И от интернационалистских утопий особенно жестоко пострадал русский народ.

— Вот ведь и пахан сообразил, что все ваши коминтерны, профинтерны и прочие мопры — мура. Когда порохом запахло, когда почуял опасность, так вспомнил про Россию, про русских полководцев и про Александра Невского, — даром, что святой, — и про Суворова и Кутузова. И церковь стал на помощь звать...

Тщетно пытался я доказывать, что наш интернационализм — советский, марксистский, ленинский — не отрицает наций, не хочет подавлять национальную самобытность, а напротив, призван всячески ей содействовать. "ИНТЕР" означает "МЕЖДУ", а не "БЕЗ"; наша цель — м е ж д у народные связи и дружеские, равноправные отношения м е ж д у разными народами. Мне это казалось само собой разумеющимся. Но убедить никого я не мог.

...Рассказывая об истории различных партий, я дошел до эсеров, в числе других назвал имена Гершуни и Гоца. Солженицын прервал удивленно, почти недоверчиво: как же так — еврейские фамилии, ведь эсеры были русской крестьянской партией? И снова удивился, когда я стал опровергать то, что он полагал общеизвестным: будто почти все троцкисты были евреями, а бухаринцы, напротив, — русскими.

...Панин упрекал меня за "греховное отречение от своего народа, за то, что я не хочу признавать себя "прежде всего евреем".

— А ведь ты сам похож на ветхозаветного пророка — и статью, и обликом, и нравом. Что из того, что не знаешь

языка! Ты и себя самого не знаешь! А со стороны виднее. Господь определил твою судьбу: ты рожден сыном избранного народа. А ты, жестоковыйный иудей, кобенишься, права качаешь, темнишь!

Солженицын вторил "скептически". Разумеется, он верит в искренность моих убеждений, в то, что, будучи евреем, я при этом сознаю и чувствую себя русским интеллигентом.

— Конечно, ты хорошо знаешь русский язык, литературу, историю. Знаешь больше, чем мы с Митей. Но ведь немецкий язык ты тоже хорошо знаешь... Все-таки хуже? Пусть. Но немецкую историю и литературу уж наверное не хуже. Ведь в них твое призвание. И проживи ты в Германии лет пятнадцать, ты вполне мог бы считать себя немцем. Так же, как Гейне или Фейхтвангер. А ни Митя, ни я никогда не могли бы. Да что мы? Вот наш дворник Спиридон. Он полуграмотный. "Слово о полку" не читал, даже не слышал о нем. О Пушкине только похабные анекдоты знает. Но проживи он хоть всю жизнь в Германии или в Польше — везде останется русским мужиком.

В таких перепалках меня больше всего злило собственное бессилие. Как спорить против "если бы", или, когда твои, казалось бы, самые убедительные доводы отстраняются дружелюбно, однако безоговорочно и решительно, — мол, верим, что ты так думаешь. Но именно только думаешь и хочешь подчинить рассудку то, что ему не подвластно — сердце, кровь, таинственный мир генов, который создавался тысячами...

* * *

...На столе Солженицына стоял большой приемник. По вечерам мы слушали концерты инструментальной музыки. Никогда раньше я не воспринимал Бетховена, Глинку, Чайковского, Мусоргского так, как в те шарашечные вечера. Мы натягивали наушники, так как кроме нас вблизи не было охотников слушать. Панин уважал нашу слабость к "отвлеченной" музыке, не мешая нам и отгоняя других. Но некото-

рые полагали, что мы просто "давим фасон" и притворяемся, будто брэнчанье и пиликанье предпочитаем частушкам, хорам, опереттам. И только хмыкали, когда мы брались за наушники: "Опять симфонию накнокали интеллигенты..." Правда, были и два-три опытных меломана. Но они, случалось, многозначительно поругивали то, что мне нравилось, и похваливали то, чего я вовсе не заметил.

...Даже больше, чем музыка, нам были необходимы стихи. Чужие и свои. В тихие вечера за стеллажами мы читали Пушкина, Тютчева, Блока, Гумилева, Есенина, Маяковского, Пастернака, Симонова... Часто спорили. Для Солженицына главным поэтом был Есенин. Для меня — Маяковский. Однажды я стал вслух читать балладу Вальтер Скотта "Разбойник" в переводе Багрицкого; он рассердился:

— А на что мне эти Бренгельские рощи? Тень-день...* брень-дрень... Это все иностранные брень-брень. А мне нужны русские стихи о России.

Панин чаще всего только терпеливо слушал и весьма одобрял наши сочинения.

Солженицын написал большую автобиографическую поэму-повесть. Он вдвоем с другом плыл на лодке по Волге, от Ярославля до Астрахани. Мне в общем нравились звучные стихи, по-некрасовски обстоятельно-живописные. Особенно понравились два эпизода. Навстречу их лодке плыла мрачная баржа, густо набитая оборванными, худыми, коротко стриженными людьми. Юноши, выросшие без отцов, и арестанты, оторванные от своих детей, глядели друг на друга. А потом, ночью, в прибрежном шалаше, усталых туристов разбудили крики, брань, лай собак, ослепляющие лучи карманных фонарей. Ворвались оперативники, искавшие беглецов...

Ко дню рождения он подарил мне стихотворное послание, которое мне тоже показалось хорошим, хотя и несколько сентиментальным. Описывалась моя будущая встреча с дочерьми, как я буду им рассказывать о жизни

**На острове мужчин,
Где не знают женщин
И не любят вин...**

* То был перевод из Вальтер Скотта "Бренгельских рощ прохладна тень".

II.

Зимой 1948—1949 года наш "объект" передали новому хозяину — МГБ. Начальником стал инженер-полковник Антон Михайлович В. Прибывали все новые партии заключенных спецов. Главным образом, связисты, радиоинженеры и радиотехники, но были инженеры и других специальностей, а также физики и химики. Появилось много вольнонаемных. Шарашка стала именоваться НИИ — и должна была разрабатывать новые системы секретных телефонов.

...Солженицын сдавал библиотеку трем девушкам. Нас обоих включили в штат акустической лаборатории, начальником которой был инженер-майор Абрам Менделевич Т. Мы провели статистическое исследование частот слогов живой русской речи. Потом составляли новые слоговые таблицы (так называемые артикуляционные). Кроме этого я занимался еще и совсем новым делом — исследовал физические параметры разговорной речи по спектрограммам — "звуковидам", которые получали с помощью специальных приборов "видимой речи".

При испытании каждой новой модели и каждого отдельного узла телефонной системы бригады артикулянтов из молодых — не старше тридцати — вольнонаемных сотрудников и сотрудниц, записывали слоги, которые диктор произносил в акустической будке — чтобы никаких внешних помех. Процент правильно принятых слогов считался объективным показателем разборчивости в данном канале.

Дикторов мы выбрали из тех заключенных и вольняг, кто мог внятно, равномерно и в то же время естественно — не выкрикивая, не выделяя отдельных звуков, подолгу читать таблицы — сотни и тысячи бессмысленных слогов.

Лучшим диктором стал инженер Сергей Куприянов. Он появился у нас во вторую зиму.

— Я чистых питерских кровей. Вырос на Неве, на Васильевском острове. Потомственный инженер. Электромеханик. Но и любая другая механика из рук не валится.

Он был осужден на 25 лет по ст. 58-8, террор. (Его оговорил родственник-инженер, арестованный за кражу платины, который спасался от угрозы расстрела, "помогая разоблачить" врагов народа.)

Сергей понравился мне с первого взгляда. Статный, осанистый, открытый, смелый взгляд из-под высокого лба. Говор образованного питерца, бывалого, свободно владеющего языками цеха и канцелярии, митинговой трибуны и окраинной пивнухи. И судил обо всем он решительно:

— ...Лучший русский художник — Маковский. Кто может в этом сомневаться? Невежда или сноб, который придуривается, что ему больше нравится какой-нибудь Врубель и абстрактная мазня...

— ...Сталин хотел отдать Ленинград немцам и еще не ясно, кто поджег бадаевские склады, кто навел на них фрицевские бомбы. А Сталин питерских боится и ненавидит. Еще за Кирова.

— ...Вот кто был настоящий большевик — Мироныч! Тут ничего не скажешь. Русская душа нараспашку. Но голова на месте. И в технике смыслил, и в градостроительстве. Не позволил уродовать Ленинград, как Москву. Не давал памятники снимать. Александра Третьего — чугунное чучело — еще до него стащили на задворки. Но все другие он отстоял — и царицу Катю, и Николая Первого, который "дурак умного догоняет, да Исакий не пускает", и Суворова... А были охотники их всех, и даже Медного всадника в мартены пустить — это я точно знаю. Как же, как же, пятилетке нужны трактора, навались инженера! Закрывай эрмитажи, хрен буржуйам покажи!..

Спорить он не любил. Высказавшись безоговорочно, категорично, от любых возражений отмахивался, иногда матерно, иногда просто шуткой, либо язвительно-смирненно:

— Ах, простите, виноват. Куда нам, технарям, невеждам посконным с просвещенными светилками тягаться... Мы лаптем щи хлебаем, босой ногой сморкаемся... Вот именно, виноват, тысячекратно, миль пардон!.. Глубоко сожалею, что дерзнул посметь свое суждение иметь и в столь высоком

присутствии высказать. Посему замолкаю. А кто сомневается, может поцеловать меня...

Уже с первых дней мы стали приятелями. Иногда ругались, громко, с матюками, но быстро мирились. Его изобретательство меня и восхищало и стало необходимым для моих работ.

Панин в первые дни очень приветливо встретил Сергея: — Истинный Василий Буслаев...

Ему нравились вольные речи и вся повадка "питерского жидителя". Но потом, из-за безбожных шуток и пренебрежительных отзывов Сергея о церкви, они рассорились. И тот поспеивался:

— Этот Митя просто блаженный, юродивый. На Руси такие никогда не переводились. А рассказать иностранцам — усрут-ся, не поверят. Давеча в мороз на прогулку вышел босиком, грудь голая до пупа. Ему бы вериги надеть пудовые и голосить о Страшном суде... Жалею таких, но уважать не могу. Сам я человек простой, грустный, печальный, но психически нормальный. И мою здоровую душу от всякой душевной патологии воротит, как муллу от ветчины.

Сергей как "внештатный, но постоянный диктор" должен был подчиняться Солженицыну и не взлюбил его.

— Мальчишка, сопляк, а строит из себя генерал-аншефа. "Вот так и так. А разговоры излишни!" Ты погляди на него, он же никогда не улыбнется! Все время, как мышь на крупу, кукуется. На всем белом свете он только одного себя любит и себе же отвечает взаимностью. Даже в носу ковыряет с величайшим самоуважением.

* * *

...Солженицын проводил длительные многоступенчатые артикуляционные испытания нескольких новых моделей. Работал он дотошно, педантично добросовестно и ставил свои "диагнозы" — то есть оценки испытываемых каналов решительно, уверенно, в иных случаях даже залихватски безапелляционно.

Модель, автором которой был Антон Михайлович, так называемая "девятка", оказалась на последнем месте. Докладывая о результатах испытаний, Солженицын не преминул отметить еще и плохое качество звука и значительное искажение тембра голоса. Антон Михайлович несколько раз прерывал его доклад вопросами, но он не давал себя смутить.

— Итак, Александр Исаевич, вы похоронили "девятку"... Да-с. Но меня огорчает всего более, что хороните вы ее не как дорогого покойника, близкого многим из нас, а как пьяного бродягу, умершего под забором...

Саня рассказывал об этом смеясь и с явной гордостью — ведь он-то был прав, уверен в себе и вдвойне доволен — прищучил самого. Но я встревожился.

Антон Михайлович обычно бывал с нами любезен, иногда шуточно или величаво-снисходительно давал понять, что весьма ценит наше прилежание, энтузиазм и образованность. Приходя в тихие вечерние часы, он заговаривал и на посторонние темы.

Заметив на столе колокольчик, звон которого мы записывали, проверяя частотные характеристики телефонов, он сказал:

— Приятный звук... Вот таким моя бабушка вызывала горничных из девичьей...

— ...И зачем это вы бороду растите?.. Я помню, мой дед-генерал холил бороду — расчесывал двумя клиньями, как ласточкин хвост. В детстве мне это казалось весьма красивым... Раздвоенные бороды у нас в доме называли русскими, короткие, "чеховские" бородки — французскими, а прямые, ровные лопаты — немецкими.

...Нынче модно говорить о гуманизме, о человеколюбии в литературе. И Толстой — гуманист, и Чехов туда же, душка. Все они, мол, поучают нас человечности. Ежели бы только это — грош им цена была бы!.. Великие писатели тем и велики, что правду-матку режут беспощадно. Безо всяких оглядок... А все эти гуманизмы, идеалы, прогрессы на поверку — пустые слова, патока и притом даже сахариновая, не сахарная. Слова-слова-слова!.. Как это у Толстого: "гладко писано в

бумаге, да забыли про овраги". А в наше время нужны не слова, а волчьи зубы и тигриные когти. Без этого любой талант, любой гений пропадет. Беззубых добрячков едят все, у кого аппетит есть. А кто силен, кто зубаст, того не скушаешь, он и сам, если проголодается, слопает, кого нужно...

Такие рассуждения слышал и Солженицын — ведь мы обычно вдвоем полуночничали в лаборатории. И я, разумеется, напомнил об этом, едва услышав про зловещий упрек — "похоронили".

— Да брось ты пугать. Пусть вольняги боятся обидеть начальство — им есть, что терять. А нам нечего. За данные артикуляционных испытаний в карцер не посадят. Антон, конечно, гад, такой же, как Абрам, и все они. Однако, можешь мне верить, я людей с первого взгляда вижу. Он умен и расчетлив, а мы ему нужны. Он знает, что мы не темним, не филоном. И он понимает, что честняги ему куда полезнее, чем подхалимы, которые только шестерят: "Чего изволите?" Нет, он знает нам цену. Позлится малость на неудачу "девятки", потом еще больше ценить будет...

— Ох, Саня, ты по логике рассуждаешь. Как в шахматы ходы считаешь... А он из тех, кто может просто доску на пол смахнуть. Ты ему изящную комбинацию, любезный шах, а он тебя сапогом в пах: не обыгрывай начальство!

— Зря паникуешь, борода! Про другого я бы поверил, но Антон не той породы.

Однако уже через несколько дней, на прогулке, он мрачно сказал, что Абрам Менделевич спросил его, кому он мог бы передать артикулянтов, поскольку Антон Михайлович намерен перевести его на укрепление математической группы, срочно разрабатывать сверхнадежную систему кодирования. Без этого конструкторы не могут закончить шифратор...

Такое неожиданное перемещение было безрассудным, но, с другой стороны, все же успокаивало: значит, это и есть месть обиженного Антона.

Солженицын создал на шарашке нечто и впрямь раньше не существовавшее — научную теорию, тщательно разработанную фонетически и в то же время психо-акустически и математи-

чески обоснованную — методику артикуляционных испытаний... Он стал отличным командиром своих артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней. Это сознавал и он сам и не хотел переключаться на унылую математическую поденщину рядовым в одном строю с более опытными, более знающими специалистами. Он сказал, что Абрам Менделевич думает так же и обещает отстаивать.

В те же дни он внезапно встретил своего бывшего учителя, профессора математики Ростовского университета, который пришел на шарашку в числе штатных консультантов очередной правительственной комиссии. Тот узнал его, удивленно, однако приветливо поздоровался, участливо поглядывая на арестантский комбинезон, а на следующий день вызвал его для деловой беседы, представившись куратором математической группы.

Солженицын, уверенный, что убедит профессора своими неопровержимыми, рациональными доводами, выложил начистоту, что не хочет возвращаться к математике, потому что серьезно занят артикуляцией, объяснил, что ведет настоящую научную работу, в которой создал уже немало нового. А математическая группа ему не подходит с самых разных точек зрения...

Профессор слушал внимательно, переубедить не стал, попрощался приветливо, чем вполне успокоил доверчивого собеседника... И когда я усомнился, не перебрал ли он в откровенности, ведь почтенный земляк все же состоит при гебистском начальстве, он только отмахнулся.

Через день его вызвали с вещами.

Вечером начальник лаборатории Абрам Менделевич сказал доверительно:

— Это вам всем урок, чтоб знали: Антон Михайлович никому ничего не спускает.

* * *

Солженицын, прощаясь, оставил мне свои конспекты по

Далю, по методике артикуляционных испытаний, по истории и философии и среди них растрепанный томик Есенина — подарок жены с надписью: "Все твое к тебе вернется", — как главное "наследство" — своего друга Николая Виткевича.

Все конспекты уцелели и вернулись к нему. Это удалось благодаря Гумеру Ахатовичу Измайлову. Талантливый инженер-электронщик, осужденный на 10 лет "за плен" и за то, что в плену дружил со своим земляком, поэтом — Мусой Джалилем (о гибели Мусы, о его новой славе он узнал много позже, уже на воле).

Гумер был в числе семи инженеров и техников, которых досрочно освободили в 1951 году в награду за создание сверхсекретного телефона — за ту же работу, которая начальникам принесла ордена, научные степени, сталинские премии. Все освобожденные остались на шарашке "вольнонаемными". Но только двое — Гумер и его друг, Иван Емельянович Брыксин, сохраняли по-настоящему хорошие отношения с недавними товарищами, не шарахались от нас, не сторонились. Именно Гумер вынес и передал моим близким значительную часть моего архива и все конспекты Солженицына.

Книжку Есенина я еще раньше доверил хранить одной из вольных сотрудниц, с которой мы одно время тайком "дружили".

Но бывшая подруга уже работала в другом отделе, и едва я заговорил (я хотел было и эту книгу передать через Гумера), — испуганно зашептала:

— Какая книжка? Какой Есенин?.. То ведь была совсем старая рвань... Я не помню, куда сунула. И вы, пожалуйста, забудьте, совсем забудьте...

...Когда Солженицын рассказывал мне о своем "деле", он говорил о Николае Виткевиче — Коке, своем лучшем друге. В годы войны они переписывались. Виткевич служил полковым химиком на другом фронте. Полагая, что военная цензура заботится только о военных тайнах, друзья непринужденно вольнодумствовали на политические темы и не слишком сложно шифровали рассуждения о преимуществах "Лысого" (Ленина) перед "Усатым" (Сталиным), который много нало-

мал дров и в тридцатом, и в тридцать седьмом, и в сорок первом годах...

Эта переписка стала основой обвинения по ст. 58 - 1, 58 - 11. Судили их порознь. Виткевича армейский трибунал приговорил к десяти годам, а Солженицына ОСО — к восьми.

В начале 1950 года тюремный кум вызвал Солженицына, сказал, скоро на объект привезут его "подельника" Виткевича и предупредил: "Вам нужно будет вести себя особенно аккуратно".

Рассказывая об этом, Саня был очень встревожен: не провокация ли?.. Не собираются ли наматывать новое дело? Он просил меня ничего никому не говорить, даже Мите.

— А тебе Кока обязательно понравится. По убеждениям, по идеологии, он, пожалуй, на полдороге между мной и тобой.

Когда Виткевич приехал, первые день-два они все свободные часы были вдвоем, сосредоточенно, серьезно толковали. Митя и я старались, чтобы им никто не мешал. Солженицын даже сменил свою нижнюю койку на верхнюю, чтобы оказаться рядом с Виткевичем.

Николай — русский по матери и поляк по отцу, которого он не помнил, — детство провел в семье отчима-дагестанца и усвоил привычки, мироощущение и даже психологию горца-мусульманина. О Шамиле и мюридах говорил с благоговейным восхищением. Блаженно вслушивался, когда по радио передавали горские песни и когда пел Рашид Бейбутов. Ему нравилось, когда я стал называть его Джалиль — так его звали в детстве.

Коренастый, смуглый, широколицый, он легко, но твердо ступал по земле; старался быть и во всяком случае казаться непроницаемо спокойным; подавлять вспыльчивость.

Очень выразительно он рассказывал о детстве, о Дагестане, о фронте, о лагерях. Особенно хорошо — почти поэтично — о том, как единоборствовал с тачкой, прилаживался к ней, пересиливая боль мышц, усталость, отчаяние, и как, осилив тачку, стал здоровей, постепенно окреп... Потом, в тайге, на лесоповале, первобытно радовался костру, готов был молиться огню, стать огнепоклонником...

Иногда мы спорили. Джалиль считал себя последовательным ленинцем, пахана Сталина отвергал безоговорочно, а меня упрекал, что я его переоцениваю и, пытаясь объективно объяснить, по сути оправдываю его зверства. Наши политические разногласия я воспринимал терпимо, но раздражался, когда он называл Пушкина — Сашкой, Лермонтова — Мишкой, Некрасова — Колькой и т.д. Однако все замечания по этому поводу он отвергал добродушно, но непреклонно:

— А это значит — я их люблю. Вот как Володька Маяковский писал: "Некрасов Коля, сын покойного Алеша...", "Есть у нас еще Асеев Колька". Вот так? У тебя старомодное почтение: ах, великий, прославленный, шапки долой!.. А я, если кого люблю, то могу и не церемониться. Вот Санька для меня Санька или "Морж", или "Ксандр", ты — Левка, или Борода, а Есенина я звал и буду звать Сережкой.

И так же упрямо доказывал он, что настоящий мужчина не должен жениться на артистке или балерине.

— Они же все бляди... Как можно допускать, чтобы твою жену лапали, да еще на сцене, чмокали взасос, хватали за что попало?.. Можешь сколько хочешь мне доказывать: "мещанство!.. предрассудки!.." И чего ты лезешь в бутылку? Ты же не на артистке женат! Да брось, все равно не поверю. На них женятся только влюбленные дураки... Ну, и конечно, режиссеры и артисты. Но те ведь и сами блядуны, без всякой мужской чести. Они и женятся, и разводятся, и так дерут, кого попало... Им все равно, что домой идти, что в бардак...

* * *

Виткевич и позднее, на воле, продолжал дружить с Солженицыным и с его первой женой. В конце пятидесятых годов он переехал в Рязань, чтобы жить и работать к ним поближе.

Рассорились они во время встречи Нового, 1964 года, когда он стал упрекать Солженицына, что тот зазнается, "вообразил себя гением", "отдаляется от старых друзей".

Об этом он тогда же написал мне. Год спустя приезжал в Москву и пытался доказывать, что "Санька совсем сбесился от славы. Никого слушать не хочет".

Однако ни тогда, ни раньше, — а ведь мы с Виткевичем и после отъезда Солженицына еще больше двух лет оставались на шарашке добрыми приятелями (он, хоть и случалось, критически отзывался о друге, который, мол, "всегда хотел быть первым, главным", "центропуп" и "никого, кроме себя, не любит") — но ни разу даже не намекнул на те обвинения в предательстве, которые в 1974 году были опубликованы за его подписью в брошюре АПН против изгнанного Солженицына, а в 1978 году повторены в грязной книжонке Ржевича ("Спираль измены Солженицына").

Весной 1955 года, в Москве, мы с Дмитрием Паниным возобновили старую дружбу уже вольными. Его жена, Евгения Ивановна, еще раньше узнала адрес Солженицына, который третий год жил в ссылке "на вечно" в степном поселке Кок Терек в Казахстане.

И мы стали переписываться. Он тогда был под наблюдением онкологов — еще не оправился после операции семеномы. Наталья Решетовская, которая развелась с ним, как с заключенным, без особых формальностей, — он долго и не знал, что уже не женат, — была замужем, не писала ему, не ответила даже на просьбу о березовом грибе, "чаге", который помогает иногда исцелять или хотя бы подлечивать рак*.

Он писал нам с Митей часто, в некоторых письмах прорывались едва скрываемые тоска одиночества, ожидание скорой смерти, отчаяние... Мы, как могли, старались утешать, ободрять, искали ему невесту, — одна кандидатка, предложенная Евгенией Ивановной, была и Митей и мной признана достойной; она, кажется, обменялась письмами с далеким женихом.

...Летом 1956 года Митя и я встретили его на Казанском вокзале.

Казалось, он почти не изменился — только чуть усох и загорел бледным желтоватым "незаконным" загаром — ему ведь нужно было избегать солнца. Поэтому и выпить для встречи не пришлось. Но говорили много; и тогда, и при новых встречах в последовавшие полтора десятилетия, уже почти не спорили.

*Их брак был восстановлен в 1957 году, после реабилитации.

Надежды и суждения о стране и о мире у нас троих часто не совпадали, — как-никак, я еще до 1968 года полагал себя марксистом (хотя уже не ленинцем), — а Митя из истового православного стал еще более истовым католиком, — но все же общего, объединявшего у нас, казалось, было больше, чем разногласий. И старая арестантская дружба словно бы стала еще крепче.

А в семидесятых годах пути разошлись. Но это уже другая тема.

И время для нее еще не пришло.



ГРАФИКА ПАВЛА БУНИНА

На вопрос, когда вы стали художником, Павел Бунин отвечает: "Насколько я понимаю, я был им всегда, только раньше плохо рисовал".

Между тем, первый его рисунок был напечатан в 1938 году, когда ему еще не исполнилось и одиннадцати лет. Это была иллюстрация к "Старухе Изергиль" Горького. Но еще до этого в Историческом музее были выставлены его рисунки на пушкинские темы — несколько иллюстраций к "Руслану и Людмиле", кстати, сохранившиеся в музейных запасниках и по сей день.

— Вы знаете, — продолжает Павел Бунин, — я вообще никогда не ощущал себя только художником, в жизни меня всегда интересовала масса вещей, отношение к которым мне хотелось как-то выразить. И совсем не обязательно — с кистью в руках. Но уж так получилось, что я всегда рисовал и что-то, видимо, выходило. И кончилось все тем, что дедушка отдал меня в школу одаренных детей, а уж потом, вроде бы, все было предreshено: Суриковский институт, Союз художников, первые выставки...

Если вот таким образом продолжать излагать биографию художника, то не хватило бы и целого тома. Павел Бунин проиллюстрировал более пятидесяти книг, и многие из них вы, вероятно, помните: "Тиль Уленшпигель", "Боги жаждут", "Сказки Андерсена", "Том Сойер", "Принц и нищий"... А если говорить о Пушкине, то, как когда-то писал

академик Алпатов, из одних рисунков Бунина на пушкинские темы можно было бы составить превосходный альбом.

Есть у Павла Бунина, иллюстратора и графика, среди многих его дарований — одно, может быть, в наибольшей степени присущее именно ему — это удивительное чувство историзма. Когда вы ходите по выставкам его рисунков, посвященных людям и событиям разных эпох, то вас не оставляет странное ощущение, будто художник, обладая фантастической уэллсовской "машиной времени", свободно перемещается из столетия в столетие, уходит в античный мир, в средневековье, переносится в кровавую гущу мировой войны, возвращается в сегодняшний день.

Кажется, будто в эти свои путешествия в далекое и близкое прошлое он захватывает свою "репортерскую папку" и там, за гранью столетий или десятилетий, делает острые зарисовки с натуры, схватывая характерные черты обстановки, типажи. Вот это-то умение вжиться в суть и дух изображаемого в сочетании с острой манерой изображения, усиливающей эффект присутствия, и сообщает рисункам талантливой графика такую притягательную силу. Его рисунки — это как бы не иллюстрации в собственном смысле, но свободные художественные сюиты, размышления художника с кистью в руках.

Павел Бунин, естественно, никогда не видел большинства событий, которые он изображает, но "машина времени" верно служит ему. Быть может, эта "машина времени", обретя реальность, перенесла художника в другой мир и сейчас, когда он приехал в Израиль. Впрочем, теперь будет правильнее говорить о многих мирах, которые всегда жили в его фантазии...

В. ПЕТРОВСКИЙ



Тиль перед сожженным Клаесом.
("Тиль Уленшпигель")



Шмуцитул ("Тиль Уленшпигель")



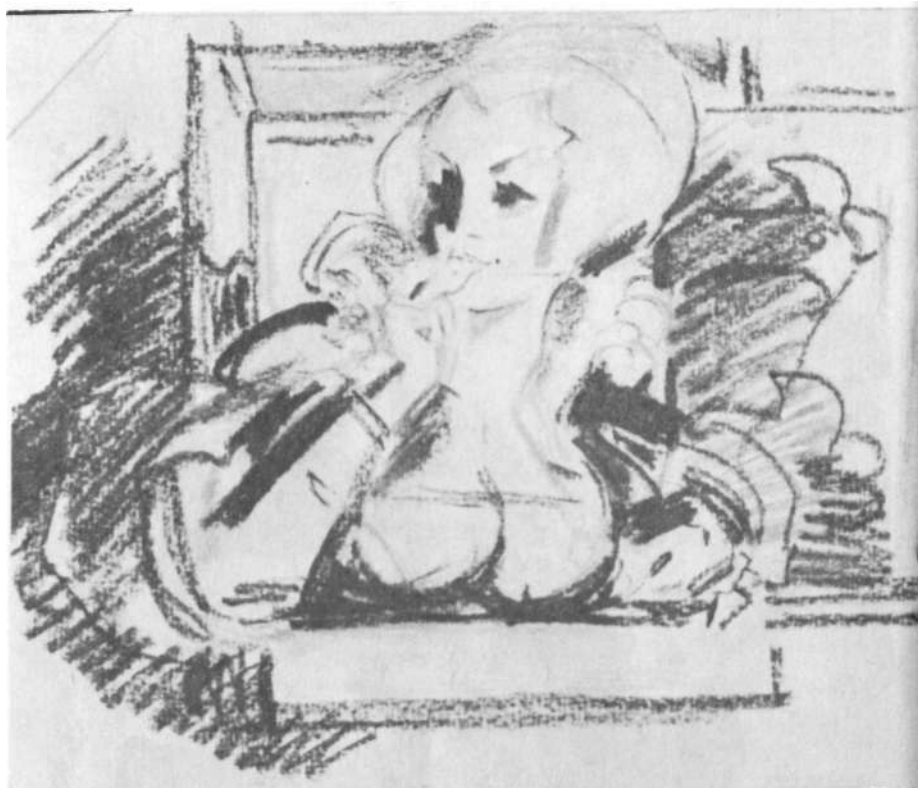
Уленшпигель и Ламме у постели больной Неле



Рыбник ("Тиль Уленшпигель")



Драка Ламме и Стерке Пирра ("Тиль Уленшпигель")



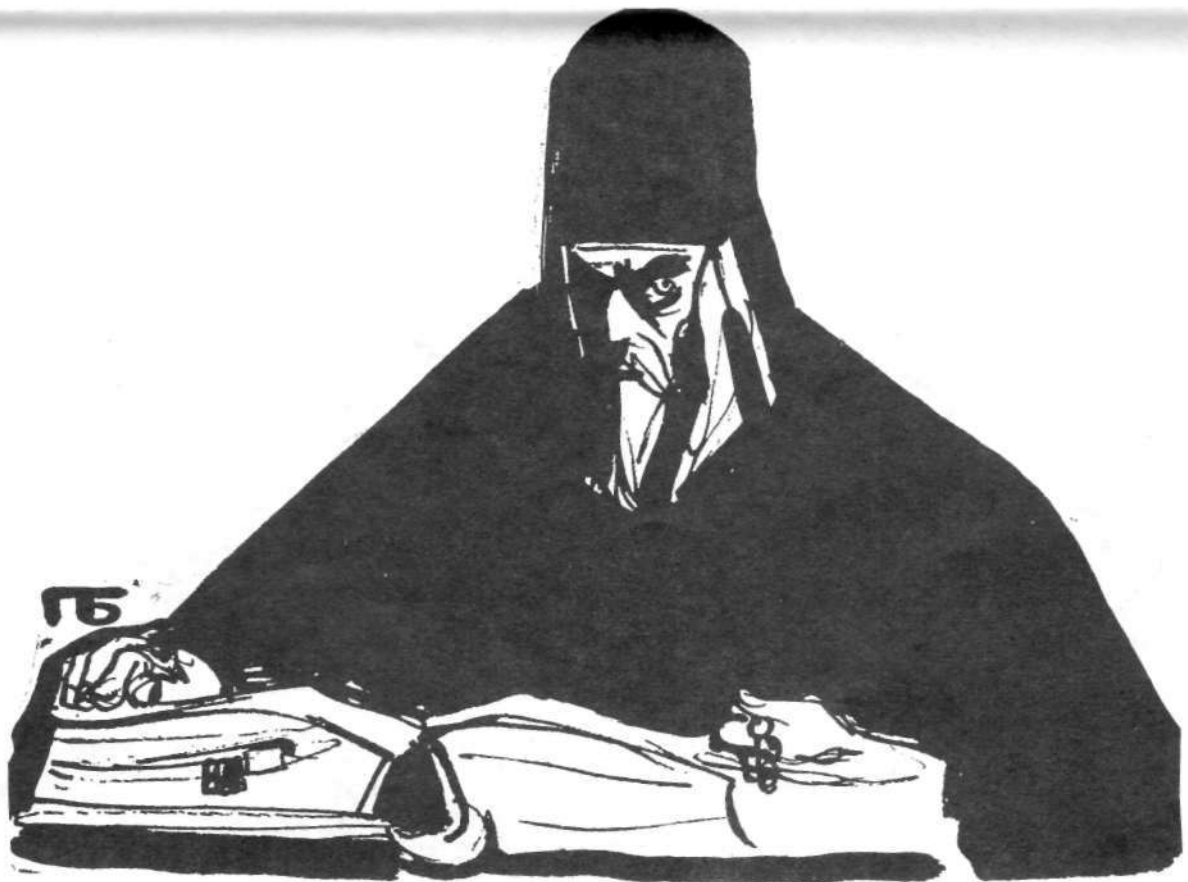
Каллакен
("Тиль Уленшпигель")



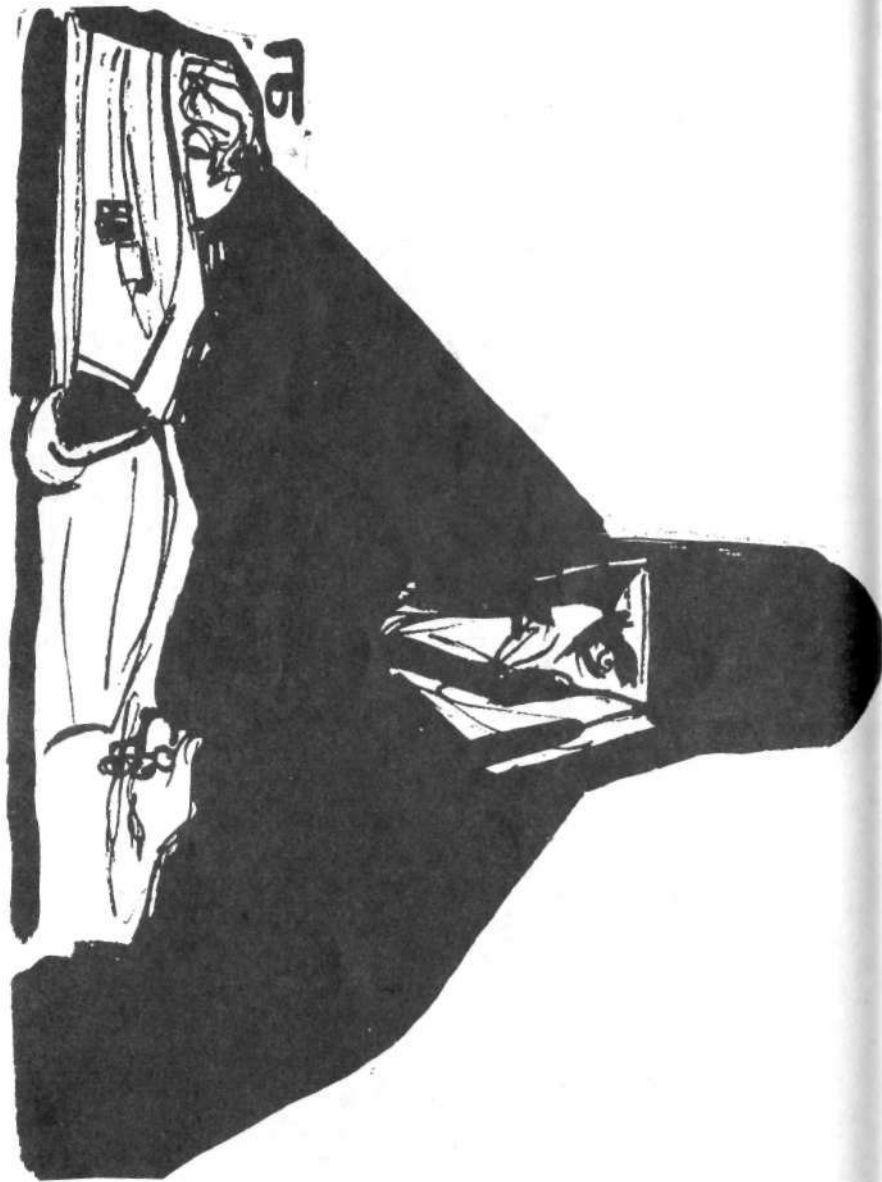
Король Филипп П, испанский
("Тиль Уленшпигель")



Из иллюстраций к Омару Хайяму



Из иллюстраций к Ключевскому (Иоанн Грозный)



" РУССКАЯ МЫСЛЬ "

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ум-эль-БАНИН АССАДУЛАЕВА. Родилась в 1905 году в Баку, в мусульманской семье: отец ее был богачом, владельцем нефтяных промыслов. После Октябрьской революции семья была разорена, отец арестован. Через два года Ум-эль-Банин удалось бежать с Кавказа и уехать в Париж, где она долго вела тяжелую жизнь эмигрантки без денег, имени, специальности. Она перепробовала много занятий: была манекенщицей, продавщицей в модном магазине, секретаршей, журналисткой, переводчицей, редактором и, наконец, нашла себя в литературе — стала французской писательницей, автором десятка книг. В 1945 году вышла в свет ее автобиографическая повесть "Кавказские дни", "Jours Caucasiens", позже дневник, рассказывающий о ее обращении в католицизм — "Я избрала опиум", "J'ai choisi l'opium". Мемуарная повесть "Последний поединок Ивана Бунина" написана по-французски и до сих пор оставалась в рукописи. В настоящее время Ум-эль-Банин живет в Париже и продолжает писать.

Сергей ДОВЛАТОВ. См. журнал № 36.

Илья БОКШТЕЙН. См. журнал № 33.

Даля РАВИКОВИЧ. Современная израильская поэтесса. Родилась в Рамат-Гане в 1936 году. Первые книги изданы в 1959 и 1964 годах. Публикуемое в русском переводе стихотворение "Ты наверное помнишь" — из сборника "Третья книга" (1970). В журнале "Время и мы" № 4 был опубликован перевод ее стихотворения "Гордость".

Агарон ШАБТАЙ. Современный израильский поэт. Филолог и театровед. Родился в Тель-Авиве в 1939 году. Преподает в Иерусалимском университете. Первые сборники его стихотворений: "Кибуц" (1973), "Домашняя поэма" (1976).

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. Родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в левосоциалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества Дружбы "Израиль-СССР", из которого вышел в 1956 году в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выпадает на страницах израильской рабочей печати.

Дора ШТУРМАН. См. журнал № 39.

Петр ВАЙЛЬ. Журналист. Родился в 1949 году в Риге. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Работал корреспондентом в Латвийской республиканской газете "Советская молодежь". Публиковался в местной и центральной прессе. Уволен в 1977 году за "идеологическое несоответствие". В сентябре 1977 года эмигрировал в США. В настоящее время живет в Нью-Йорке, работает литсотрудником в газете "Новое Русское Слово". Был редактором и автором выходившего в Риге самиздатского альманаха "Еврейская мысль".

Александр ГЕНИС. Филолог. Родился в 1953 году в Рязани. Окончил философский факультет Латвийского Государственного Университета. Работал редактором в рижской газете "Ригас Вильни". В июле 1977 года эмигрировал в США. В настоящее время живет в Нью-Йорке, работает метранпажем в типографии газеты "Новое Русское Слово". Был редактором и автором выходившего в Риге самиздатского альманаха "Еврейская мысль".

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 38.

Лев КОПЕЛЕВ. Критик, литературовед, писатель. Родился в 1912 году в Киеве. В 1938 году окончил Московский институт иностранных языков. Участник Великой Отечественной войны. Затем много лет провел в сталинских концлагерях и тюрьмах. Автор множества статей и переводов. В 1976 году на Западе вышла его первая большая проза: "Хранить вечно". Через год исключен из Союза писателей СССР. Активный участник правозащитного движения в СССР.

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

в 1976—1979 гг. опубликованы следующие книги:

ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

Печально улыбнуться. Стихи цена 10 франков

АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Ностальгия. Стихи цена 15 франков

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

Место и время (Еврейские заметки) цена 30 франков

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

Репетиция в пятницу. Повесть и рассказы
цена 30 франков

ГЕНРИХСАПГИР

Сонеты на рубашках. Стихи цена 20 франков

ИГОРЬ БУРИХИН

Мой дом слово. Стихи цена 10 франков

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

Смешнее чем прежде. Рассказы и повести
цена 33 франка

"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Альманах литературы и искусства (иллюстрированный)

№ 1, 1976 цена 15 франков

№ 2, 1977 цена 15 франков

№ 3/4, 1978 цена 30 франков

№ 5, 1979 цена 20 франков

При заказе в издательстве скидка 30%.

Пересылка за счет заказчика.

Заказы направлять по адресу:

Alexandre Gleser, Chateau du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron

tel. 942.96.52

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ARDIS

АХМАТОВА, А. Поэма без героя. (1978). 3.50

Подорожник (1976). 2.50

Анно Домини (1976). 3.50

БЕЛОЗЕРСКАЯ, Л.Е. Воспоминания о М.А.Булгакове. (1979). 3.95

БИТОВ, А. Пушкинский дом. (1978). 412 стр. 8.00

БРОДСКИЙ, И. Часть речи. (1977) Конец прекрасной эпохи. 3.95 кажд.

БУЛГАКОВ, М. Дьяволиада. (1976). ЗЯ55

Неизданный Булгаков. (1977). 5.00

ВАГИНОВ, К. Стихи. (1978). 2.50

ВОЙНОВИЧ, В. Иваськиада. (1976). 3.95

ГАЗДАНОВ, Г. Вечер у Клэр. (1979). 4.50

ГИППИУС, З. Письма к Ходасевичу и Берберовой. (1978). 3.00

ГЛАГОЛ, Альманах, выпуски 1 и 2 (1977, 1978) 3.95 кажд.

ГУМИЛЕВ, Н. Огненный столп. (1976). 3.00

ДОВЛАТОВ, С. Невидимая книга. (1978). 3.50

ЗАМЯТИН, Е. Нечестивые рассказы. (1978). 3.95

Наводнение. (1976). 2.50

ИСКАНДЕР, Ф. Сандро из Чегема. (1978). 610 стр. 8.95

КОПЕЛЕВ, Л. И сотворил себе кумира. (1978). 335 стр. 7.95

Хранить вечно. (1978). 702 стр. 8.95

Вера в слово. (1977). 64 стр. 3.00

КУЗМИН, М. Форель разбивает лед. (1978). 3.95

МАНДЕЛЬШТАМ, О. Египетская марка. (1976). 3.95

НАБОКОВ, В. Камера obscura. (1976). 6.00

Весна в Фиальте. (1978). 6.00

Отчаяние. (1978). 6.00

Соглядатай. (1978). 6.00

Король, дама, валет. (1979). 6.00

Другие берега. (1978). 6.00

Лолита. (1976). 5.00

Возвращение Чорба. (1976). 5.00

Стихи. (1979). 3.95

Подвиг. (1978). 5.00

Машенька. (1978). 4.00

Приглашение на казнь. (1979). 6.00

Защита Лужина. (1979). 6.00

ОЛЕША, Ю. Зависть. Илл. Альтмана. (1976). 3.95

ПАРНОК, С. Собрание стихотворений. (1979). 388 стр. 5.00

ПАСТЕРНАК, Б. Сестра моя жизнь. (1976). 3.95

ПЛАТОНОВ, А. Шарманка. Пьеса. (1975). 3.25

ПУШКИН, А. Путешествие в Арзрум. Репринт с изд. Лифаря. 4.00

СОКОЛОВ, Саша. Школа для дураков. (1976). 3.00

УФЛЯНД, В. Стихи 1955-77. (1978). 3.00

ХЛЕБНИКОВ, В. Зангези. Факсимиле. 3.25

ЧААДАЕВ, П. Философические письма. (1978). 3.50

ЧУКОВСКИЙ, К. Поэт и палач. 2.50

ЦВЕТКОВ, А. Сборник песен для жизни соло. (1978) 3.95

ЦЕХ ПОЭТОВ. Акмеисты. (1978). 3.00

ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ. ВПИШИТЕ СВОЮ
ФАМИЛИЮ _____

АДРЕС _____

ВЫРЕЖЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, добавьте к сумме чека 50 центов на
пересылку и шлите заказ по адресу:

ARDIS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104, USA

БОРИС ШРАГИН. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДУХА.

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD.
LONDON. 1977. 40, ELSHAM ROAD, LONDON W14 8NB,
England.

Английский перевод: Цена — 6 фунтов.
12 долларов.

BORIS SHRAGIN. THE CHALLENGE OF THE SPIRIT.
A BORZOI BOOK PUBLISHED BY ALFRED A. KNOPF.
NEW YORK. 1978. 201 East 50th Street, New York, N.Y.
10022. U.S. A.

Цена — 10 долларов.

В книге рассматриваются связи между русским прошлым и современностью, роль русской интеллигенции в отечественной истории.

"Г-н Шрагин считает, что современный интеллектуальный диссидент в России может быть понят как экзистенциальный жест, как утверждение свободы личности наперекор официальной лжи, преследованиям и тупому безучастию".

Макс Хейвурд. THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW.
"Эта книга написана... в традиции широкого спекулятивного мышления, с которой западный читатель уже встречался у Бердяева".

Генри Гиффорд. THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS.
"...книга заслуживает теплого приема у американских читателей, которые найдут в ней наилучший, из всего до сих пор опубликованного, отчет об истоках, развитии, современном положении и будущих перспективах диссидентского движения в России".

Роберт М. Слассер. BALTIMORE SUN.
"...источник авторской страстности, пафоса, доказательств лежит не столько в наших "вечных" вопросах и не в построении концепций, а в конкретном противостоянии конкретному и даже называемому лицу и кругу людей, который этим лицом как бы определяется. Это лицо — А. Солженицын".

Е. Брейбарт. "Посев".
ЗАКАЗЫВАЙТЕ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ В ЛОНДОНСКОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ В РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 432 лиры
на 12 месяцев — 780 лир

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 24
на 12 месяцев — \$ 48, авиапочта — 96

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 99
на 12 месяцев — F.FR. 198, авиапочта — 350

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46
на 12 месяцев — DM 92, авиапочта — 176

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высыпать с номера.....

Журнал *высыла ть* по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

POB. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высыла ть с номера.....

Журнал *высыла ть* по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



HILLASH, Inc.

Рекламно-информационное агентство HILLASH, Inc. — это Ваше представительство в Нью-Йорке. Агентство рекламирует продукцию и услуги своих клиентов на любом языке во всех периодических изданиях, подготавливает и издает рекламные проспекты, организует патентование изобретений, консультирует экспортно-импортные операции, ведет деловую и личную переписку за своих клиентов на любом языке.

Подготавливая свою поездку в США, Вы можете через наше агентство зарезервировать место в отеле или частной квартире, договориться о встрече, транспорте.

Находясь в Нью-Йорке Вы можете договориться через наше агентство о сопровождении переводчиков, эскортировании, использовании лимузинов, развлечениях и многом другом.

Рекламно-информационное агентство HILLASH, Inc. выполняет как деловые так и личные поручения.

HILLASH, Inc. One Times Square, Room No. 1115
NEW YORK, NEW YORK 10036, USA.
Tel. (212) 354-5820 & 580-0424.

*Издательство КАНЭ выпустило в свет роман
Нелли ГУТИНОЙ*

"ДВОЙНОЕ ДНО"

Роман рассказывает о мире подпольного бизнеса в Советском Союзе, о причастности партийных верхов к подпольному бизнесу, о механизме обогащения советских миллионеров, о их двойной жизни в условиях советского режима.

Сюжет романа строится на многочисленных жизненных перипетиях подпольных бизнесменов в СССР, постоянно рискующих жизнью и свободой в условиях "организованной экономики".

**370 стр. Издательство КАНЭ. Тель-Авив, POB 1697.
Цена за пределами Израиля — 8 долларов.**

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: иллюстрация П. Бунина к роману Ш. де Костера "Тиль Уленшпигель" (Тиль и Ламме в Брюсселе).

